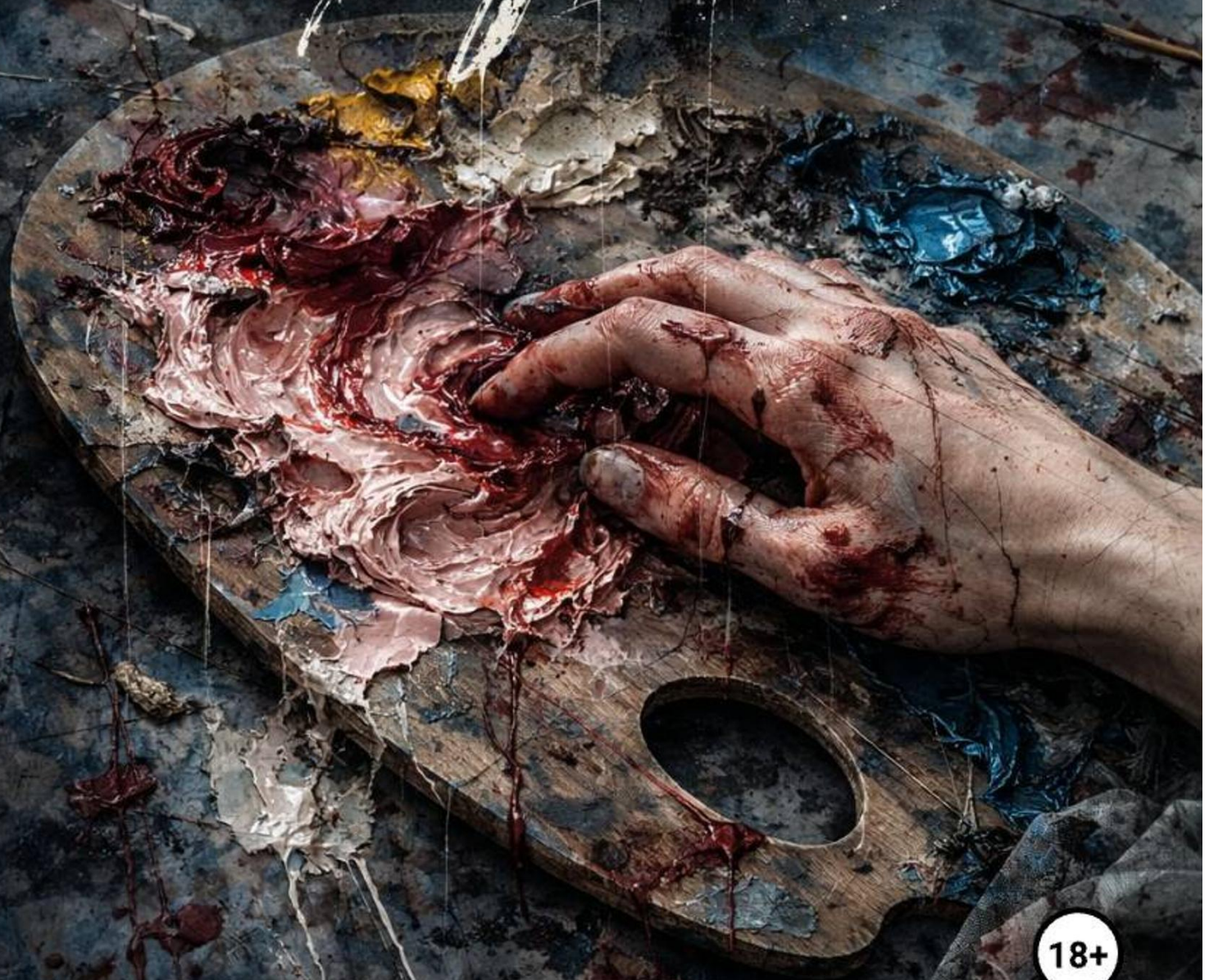


КСЕНИЯ РАХМАНИНА

От слова
«ХУДО»



18+

Ксения Рахманина

От слова «худо»

«Автор»

2026

Рахманина К.

От слова «худо» / К. Рахманина — «Автор», 2026

Она рисует его портрет. Он медленно умирает. Она знает об этом, но не может остановиться – ведь он идеальная модель. Фёдор любит Лену так сильно, что готов отказаться от жизни, лишь бы остаться её музой. Лена любит свои картины больше, чем живых людей. Когда осознаёшь, что используешь человека, – уже поздно что-то менять? Пронзительная исповедь о художнике-вампире и мужчине, чья любовь оказалась его приговором.

© Рахманина К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

1	5
2	11
3	15
4	20
5	26
6	32
7	36
8	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Ксения Рахманина

От слова «худо»

1

– Девушка...

Голос холодный, чуть металлический, словно звук, отражённый от кафельных стен. Я не сразу поняла, что он обращён ко мне. Мои мысли были далеко – в мастерской, у мольберта, где на холсте застыл недописанный поворот головы, где свет падал на скульпы под таким идеальным углом, что хотелось остановить время и запечатлеть это мгновение навсегда. А ещё эти груши на синей скатерти. Упрямый жёлтый цвет, который никак не хотел ложиться правильно. Кадмий, смешанный с охрой, капелька белил, но всё равно – не то, не то...

– Девушка...

Слово странное для сорокалетней женщины. Почти обезличенное. Но, чёрт побери, всё же приятное – значит, выгляжу не так уж плохо для своих лет. Хотя зачем мне это сейчас? Зачем мне вообще думать о таких вещах, когда...

Я медленно обернулась, как человек, которого вытащили из глубокого сна. Мир вокруг казался нереальным, словно декорация, наспех сколоченная для дешёвого спектакля. Белые стены. Слишком белые, больничной белизной, которая режет глаза и заставляет щуриться. Запах дезинфекции – едкий, химический, перебивающий всё живое. Где-то за спиной шаркали тапочками по линолеуму, кто-то говорил приглушённым голосом, кто-то всхлипывал – тихо, безнадежно, как плачут те, кто уже устал плакать.

Больничный коридор.

Как я здесь оказалась?

Передо мной стояла молоденькая медсестра. Двадцать пять, не больше. Большие карие глаза с длинными ресницами, высокие скулы, которые в другой ситуации я бы обязательно зарисовала – тонкой кистью, подчеркнув игру света и тени, этот изгиб кости под нежной кожей. Она была красива той неброской красотой, которую замечаешь не сразу, но потом уже не можешь забыть.

В воображении я уже видела её портрет – в холодных серых тонах этого коридора, с еле уловимым сиянием под длинными ресницами, с этим особенным выражением лица, которое бывает у людей, привыкших сообщать плохие новости. Может быть, добавить синевы в тени под глазами – усталость, ночные смены. Или нет, лучше тёплый охристый подтон, чтобы показать, что под профессиональной маской ещё живёт человек...

Боже мой. Я опять это делаю. Даже здесь. Даже сейчас.

Медсестра смотрела на меня с тем особым сочувствием, которому учат на первом курсе медицинского. Искреннее, но отрепетированное. Она явно не в первый раз стояла вот так перед человеком, чья жизнь вот-вот разделится на «до» и «после».

– Мы сделали всё, что могли, – произнесла она.

Фраза прозвучала автоматически. Наверное, сотни раз репетированная. С той самой безнадежной интонацией, от которой хочется сжаться в комок и исчезнуть. Сколько раз она говорила эти слова за свою короткую карьеру? Десять? Пятьдесят? Сто? И каждый раз она видела, как люди ломаются, как рушатся прямо у неё на глазах, как в их взглядах гаснет что-то важное.

Но в моей голове эта фраза прозвучала как выстрел. Как удар молота по наковальне. Холодная вода плеснулась на холст моего сознания – и по нему поплыли разводы, смывая краски, превращая чёткие образы в размытые пятна.

Они сделали всё, что могли. А я сделала всё, что могла?

Я стояла, не двигаясь, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Пол под ногами был твёрдым, линолеум потрескавшийся, с рисунком, имитирующим мрамор, но у меня было ощущение, что я стою на краю пропасти. Что стоит мне сделать шаг – и я упаду, упаду туда, откуда нет возврата.

Что сделали? Почему? С кем? И главное – зачем мне это говорят?

Руки сами собой сжали ремешок сумки. Кожа потрескалась на сгибах, я давно собиралась купить новую, но всё некогда было, всё картины, картины, картины... Пальцы побелели от напряжения. Я смотрела на медсестру и не понимала, чего она от меня ждёт. Слёз? Крика? Обморока?

Но слёз не было. Больше не было. Даже когда умер отец, даже когда мать ушла, так и не простив меня, – я толком-то и не плакала. Или не помню этого... Как будто бы просто стояла с сухими глазами и чувствовала, как внутри всё сворачивается в тугой узел, который никогда не развяжешь.

А потом всё вспомнилось разом.

Не постепенно, не по кусочкам – сразу, как удар. Как будто кто-то распахнул дверь в тёмную комнату, и свет ворвался туда, безжалостный и яркий, выхватывая из темноты всё, что я так старательно прятала.

Звонок. Вчера утром. Или вечером? Нет, позавчера? Или три дня назад? Время потеряло смысл. Незнакомый голос, официальный, с едва различимыми нотками сочувствия: «Вы знаете Фёдора Андреевича Соколова? Он указал вас как близкого человека». Близкого. Какое странное слово. Были ли мы близки? Я знала, как ложится свет на его лицо, знала до мельчайших подробностей каждую линию его скул, изгиб губ, тень под подбородком. Но знала ли я его?

Госпитализирован в тяжёлом состоянии. Передозировка прегабалином. Нужно приехать.

Я записала адрес дрожащей рукой, прямо на обороте старого счёта с долгами за электричество, потому что чистой бумаги под рукой не оказалось. Почерк получился корявым, буквы напозлали друг на друга, но я боялась переспрашивать, боялась, что голос сорвётся.

Потом – такси. Весь город напрасно манил меня своей красотой. Я смотрела в окно и не видела ничего. Дома плыли мимо, люди, машины, светофоры – всё сливалось в одно серое пятно. В голове крутилась одна мысль: не опоздать бы, только бы не опоздать.

Он умер вчера вечером. Нет, сегодня утром? Медсестра что-то говорила о времени, но я не расслышала. Да и какая теперь разница? Три дня он был без сознания, три дня врачи боролись, ставили капельницы, делали всё возможное и невозможное. А я сидела в этом коридоре и рисовала его в блокноте. Снова и снова. Как будто это могло что-то изменить. Как будто каждый набросок был заклинанием, которое могло вернуть его.

Сердце остановилось... острая сердечная недостаточность на фоне длительного приёма высоких доз прегабалина – так сказали. Просто остановилось сердце, как останавливаются старые часы. Тик-так, тик-так, тик... и тишина.

– Вы хотите его увидеть? – спросила медсестра тихо, почти шёпотом.

Я посмотрела на неё и увидела в её глазах то, что обычно скрыто за профессиональной маской. Настоящее сочувствие. Может быть, она тоже кого-то теряла. Наверняка, да. Может быть, она знала, каково это – стоять в больничном коридоре и слышать слова, которые невозможно принять.

Увидеть его.

Я представила: он лежит на каталке, накрытый белой простыней, и лицо его спокойно, почти безмятежно. Говорят же, что мёртвые выглядят умиротворёнными, словно наконец-то нашли ответ на вопрос, который мучил их всю жизнь. Я могла бы войти в ту комнату, подойти, откинуть край простыни. Коснуться его руки – она была бы холодной, конечно. Посмотреть в последний раз на это лицо, которое я рисовала столько раз, что знала наизусть каждую чёрточку.

Я могла бы.

Но я не хотела. Не хотела видеть его мёртвым. Не хотела, чтобы последнее воспоминание было – он под белой простынёй в больничной комнате, под холодным светом ламп дневного света, которые делают даже живых похожими на трупы.

Нет.

Я хотела помнить его другим. Таким, каким он был, когда приходил в последний раз. Когда я кричала вслед ему уходящему о том, как люблю его, о том, что поняла это слишком поздно... Или когда садился в кресло у окна, и свет ложился на его лицо так идеально, что дыхание перехватывало. А может когда он поворачивался ко мне, и в его глазах была эта бесконечная грусть, которую я так и не смогла разгадать. Которую рисовала снова и снова, пытаюсь понять.

– Нет, – сказала я, и голос прозвучал чужим, хриплым, словно я не говорила несколько дней. – Спасибо. Не надо.

Медсестра кивнула. Она не осуждала. Наверное, слышала этот ответ не в первый раз.

– Вам нужно подписать документы, – она протянула мне папку. – Когда будете готовы. Можете присесть вот там, – она указала на ряд пластиковых стульев у стены. – Я принесу воды.

Почему собственно мне? Почему эта участь, даже с учётом последних нескольких месяцев, выпала мне? Я не задала этот вопрос в моменте и, лишь на секунду засомневавшись, бросила растерянный взгляд на медсестру, принесшую мне стакан воды. Она, кажется, поняла меня без слов и мягко кивнула, рассеивая мои сомнения. Что ж... Надо, значит надо. Пусть это буду я.

Я взяла папку машинально, не глядя. Бумаги внутри шелестели, строчки расплывались перед глазами. Акт о смерти. Такой официальный, сухой, бюрократический. Строка за строкой, графа за графой. Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Дата смерти. Причина: острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне отравления лекарственными препаратами.

Отравления.

Какое чистое, медицинское слово. Будто речь о просроченных консервах или грибах, а не о том, что он сам, добровольно принимал препараты, сравнимые с наркотиками. День за днём, неделя за неделей. А я смотрела. Смотрела и не пыталась ничего исправить. Ничего.

Я добрела до стульев, опустилась на один из них. Пластик был холодным даже через джинсы. Больница сэкономила на отоплении, или просто здесь всегда было холодно – та особенная больничная прохлада, которая пробирает до костей.

Коридор был почти пуст. Где-то в конце, у окна, стояла пожилая женщина и смотрела на улицу. Плечи её вздрагивали – она плакала, тихо, чтобы не мешать другим. Напротив, на скамейке, сидел мужчина лет тридцати с костылями рядом, лицо его было безучастным, взгляд устремился в одну точку. Ждал кого-то. Или просто убивал время.

Обычный день в больнице. Кто-то умирает, кто-то рождается, кто-то выздоравливает, кто-то получает диагноз. Жизнь продолжается, равнодушная к частным трагедиям.

Я выпила воду, которую принесла медсестра, не чувствуя вкуса. Она была тёплой, как будто даже хлорированной, противной, но я выпила до дна, потому что надо было что-то делать. Надо было хоть как-то заполнить эту пустоту, которая вдруг образовалась внутри.

– Есть кто-то, кому нужно позвонить? – спросила подошедшая вновь медсестра. – Родственники, друзья?

Родственники.

У него была тётка где-то под Петербургом. Он как-то рассказывал о ней вскользь, но меня тогда не слишком интересовали подробности. Да, мне было совсем неинтересно. Всё, от чего трепетало моё сердце и чем были заняты мои мысли – это его лицо, его руки, то, как он сидел в кресле. А его жизнь, его прошлое, его связи – всё это было за кадром. За пределами холста.

Теперь кто-то должен будет ей позвонить. Сказать: ваш племянник умер. Простите за беспокойство.

– Я не знаю, – призналась я. – Я не знаю, кому звонить.

Медсестра посмотрела на меня с едва уловимым удивлением. Наверное, ей было странно: как можно не знать, кому сообщить о смерти близкого человека?

Но я действительно не знала. Потому что я ничего почти о нём не знала. Ничего, кроме того, как выглядит его профиль в контровом свете.

– Хорошо, – сказала она после паузы. – Мы попробуем связаться сами. У него были документы, паспорт. Мы найдём контакты.

Она ушла, а я осталась сидеть на холодном стуле с папкой на коленях, и в голове был только один вопрос, который повторялся снова и снова, как заезженная пластинка:

Как это произошло?

Нет, я знала «как» в медицинском смысле. Передозировка. Прегабалин, смешанный с чем-то ещё, возможно с алкоголем, – медсестра объясняла, но слова не доходили до сознания, рассыпались, не складываясь в картину. Он успел вызвать скорую сам, сказал диспетчеру: «Помогите мне», – а потом предусмотрительно оставил входную дверь открытой на случай, если медики опоздают и всё будет кончено.

Его откачали, если можно так сказать о человеке с длительной зависимостью от всего навсего (казалось бы) аптечного препарата. Промыли желудок, поставили капельницы, боролись за каждый удар сердца. Три дня он был в коме, балансируя на грани. А на четвёртый – сердце не выдержало.

Но как это произошло по-настоящему? Как случилось, что человек, к которому я впервые испытала сильные чувства, который открылся мне полностью, с которым мы совсем недавно гуляли в Коломенском и видели этот просвет... Просвет в счастливое будущее, где я, вдохновлённая им до кончиков пальцев, рисую его снова и снова, а он... А он просто рядом, просто со мной. Как случилось, что теперь он вдруг оказался здесь, в этом холодном коридоре, мёртвым?

Когда я перестала его видеть по-настоящему? Когда перестала замечать, что он исчезает, растворяется, тает, как акварель под струёй воды?

А может быть, я никогда его и не видела. На меня вновь накатили те же мысли, которые я крутила в голове пару дней назад. И если тогда я испытала некоторое облегчение, признавшись самой себе в своих же чувствах к Фёдору, да и вообще ко всему миру, к этой жизни. То сейчас эти мысли буквально душили меня своей беспощадностью.

Это я. Я подтолкнула его ещё ближе к краю пропасти, в тот момент, когда должна была протянуть руку и навсегда вытащить его оттуда. Я бы смогла, я знаю. Просто не хотела или боялась...

Я открыла сумку, достала блокнот. Потрёпанный, со следами краски на обложке, с загнутыми уголками страниц. Мой вечный спутник. Я всегда носила его с собой, на случай, если вдруг увижу что-то, что нужно запечатлеть немедленно.

Последние дни он был исписан это портретами. Только им. Десятки набросков – лицо с разных ракурсов, руки, профиль, глаза. Я рисовала его по памяти, сидя в этом коридоре, и каждый раз думала: может быть, если я нарисую достаточно раз, он очнётся. Может быть, это какое-то магическое действие, ритуал, который вернёт его.

Детская вера в силу искусства. Будто творчество может воскрешать мёртвых. Было бы неплохо, но увы...

До конца не веря в реальность происходящего, я закрыла блокнот, сунула обратно в сумку.

За окном было серое небо, моросил дождь – такой же, как в тот день, когда мы встретились на Курском вокзале. Октябрь. Холод, сырость, люди в тёмных плащах с зонтами. И он

у колонны, в лимонной рубашке, которая трепетала на ветру. И его взгляд – устремлённый вдаль, будто он кого-то ждал. Или уже давно перестал ждать.

Медсестра вернулась, присела рядом на корточки, чтобы оказаться на одном уровне со мной.

– Вам нужно поехать домой, – сказала она мягко. – Отдохнуть. Вы здесь уже который день сидите.

Неужели? Время настолько перестало для меня существовать, что я не помнила ни когда мне позвонили, ни когда я приехала сюда, ни сколько уже нахожусь здесь. Эти временные отрезки слились в один бесконечный коридор, в один бесконечный страх.

– Документы можно оформить завтра. Или послезавтра. Не спешите.

Какая ужасающая ирония. Я торопилась всю дорогу сюда, мчалась, боялась опоздать. А теперь мне говорят: не спешите. Ну, да... Потому что спешить уже некуда.

– Хорошо, – сказала я и встала.

Ноги не слушались, затекли от долгого сидения. Я пошла к выходу, медленно, будто учась ходить заново. Коридор был бесконечным, двери мелькали по сторонам – белые, одинаковые, с табличками, которые я не читала.

У выхода я обернулась. Медсестра всё ещё стояла там, у своего поста, и смотрела мне вслед. В её взгляде было что-то... сочувствие? Жалость? Или просто профессиональный интерес к очередной сломленной душе?

Я кивнула ей – не знаю зачем – и вышла.

На улице было холодно. Дождь усилился, капли били по лицу, по рукам. Я не взяла зонт. Пожалуй, зонт – последняя вещь во всём мире, о которой я могла бы подумать в тот момент. Да и какая разница?

Я шла по мокрым улицам, и город плыл вокруг, расплывался, как акварель. Машины, витрины магазинов, люди под зонтами – всё казалось нереальным, декоративным. Только холод был настоящим, пронизывающим до костей. И пустота внутри, которая с каждым шагом становилась всё больше.

Где-то по пути я поймала такси. Села на заднее сиденье, продиктовала адрес. Водитель что-то спрашивал – я не слышала. Просто смотрела в окно и думала об одном: Что теперь?

Внезапно я оказалась в той точке, когда всё то, что раньше было смыслом, вдруг потеряло вес. Стало плоским, картонным, ненужным.

Фёдор умер.

И это моя вина. Я ощущала это всем своим разумом и даже телом. Я виновата в том, что не сделала всё, что могла. Эта мысль вернулась ко мне не сразу, подкралась исподтишка, но когда вновь оформилась, заняла всё пространство.

Я видела его в периоды этой нездоровой эйфории, видела в моменты синдрома отмены, знала всё с самого начала и просто жила с этим, принимала. Мне было настолько комфортно с ним, что я держала его и тем самым убивала, лишь бы не разрушать этот свой зыбкий комфорт. Да, я замечала, как он меняется – становится отрешённым, пустым, будто призрачным. Я знала, что всё идёт совсем не так как должно. Но молчала вновь и вновь, потому что боялась, что если я отпущу, он уйдёт. Уйдёт и больше не вернётся тем, к которому я привыкла, больше не станет довольствоваться малым...

Я предпочла его смерть его отсутствию в моей мастерской.

Такси остановилось у моего дома – это так странно, но я даже не следила за дорогой, поэтому из моих собственных мыслей меня вырвал голос водителя. Я расплатилась, неуклюже вышла, испачкав брюки, поднялась по лестнице. Ключ никак не попадал в замочную скважину, руки дрожали. Но наконец дверь поддалась.

Небольшая квартирка, она же мастерская, встретила меня тишиной.

И недописанным портретом на мольберте.

Он стоял ровно там, где я его оставила. Фёдор, сидящий спиной к зрителю, оглядывающийся через плечо. Незавершённый поворот головы. Недописанная тень под подбородком и блик в глазах, который я собиралась добавить, чтобы придать ему живости.

Всего несколько мазков, подумать только. В обычном состоянии это заняло бы не больше получаса. Но не теперь. Моя рука так и не смогла взять кисть, сколько я не уговаривала себя.

Я вдруг отчётливо поняла, что если я его закончу, Фёдор умрёт окончательно. А так в воздухе оставалась висеть призрачная надежда на то, что вот-вот он вернётся и мы закончим портрет, а после пойдём пить чай, как частенько делали это раньше.

Я опустилась на пол прямо у порога, обхватила колени руками и впервые за много лет почувствовала, как внутри что-то ломается. Беззвучно, но необратимо.

Фёдор умер. Его больше никогда не будет.

2

Я так и осталась сидеть на полу – спиной к двери, глядя на портрет Фёдора, который был почему-то мне особенно дорог среди остальных. Не знаю, сколько прошло времени. Час? Два? За окном стемнело, мастерская погрузилась в сумерки, и только уличные фонари бросали неровные пятна света на стены, на холсты, на его лицо, застывшее в вечном обороте.

Когда я пыталась встать, ноги не слушались – они затекли, одеревенели. Я доползла до кресла у окна, того самого, в котором он сидел столько раз, и забралась в него, подтянув ноги под себя. Кресло хранило его форму, его запах – едва уловимый, но узнаваемый. Что-то древесное, с горчинкой табака, которого он не курил, и ещё что-то неопределённое, что было только его.

Я закрыла глаза, и в темноте всплыл вопрос, который задала медсестра: «Есть кто-то, кому нужно позвонить? Родственники, друзья?»

Родственники. У меня их тоже не было. Мать умерла семь лет назад, отец – ещё раньше. Оба так и не простили меня. Оба ушли, унося с собой молчаливый упрёк, который я читала в их глазах каждый раз, когда мы виделись. А виделись мы редко. На похоронах, в основном.

Друзья? Вера, может быть. Но я не могла ей позвонить. В последнее время между нами было много непонимания. Она корила меня за моё отношение к Фёдору как своей собственности: вначале мягко, чтобы не передавить, затем стала выражаться более резко. В какой-то момент я вспылила. Я прекрасно понимала, что она права абсолютно во всём, но не могла этого принять. Ведь тогда я должна была бы действовать, прислушаться к её словам, поменять всё. И потерять Фёдора – того, кто был тогда мне так нужен... И сейчас я просто не могла себе позволить услышать в её голосе то, что обязательно прозвучит: «Я же говорила, что так будет. Я предупреждала». Меня бы сломало это окончательно.

Игорь Сергеевич? Нет. Он бы приехал, возможно, посочувствовал: иногда он умеет поддерживать как никто другой, с высоты своих лет и опыта. Но сейчас его сочувствие было бы пропитано практичностью: «Заканчивай портрет. Это будет твоя лучшая работа. Смерть всегда продаёт».

Я была одна. Как всегда. Чему тут, собственно, удивляться? Я выбрала это сама, когда мне было семнадцать.

И вдруг – не знаю, почему именно сейчас – будто после яркой вспышки, я вспомнила тот день. Самый первый день, когда поняла, что отличаюсь от других. Что вижу мир не так, как все остальные.

Мне было семь.

Это была обычная коммунальная квартира на окраине Москвы, в доме, построенном ещё до войны. Высокие потолки с лепниной, которая осыпалась и никто не собирался её восстанавливать. Длинный коридор, пахнувший чужой едой и сыростью. Соседи – тихие, незаметные люди, с которыми мы здоровались и старались не пересекаться.

Наша комната была маленькой, метров пятнадцать, не больше. Родители спали на диване, который днём превращался в место для сидения. Мне выделили угол за шкафом – там стояла узкая кровать и тумбочка. Окно выходило во двор-колодец, где почти никогда не было солнца, только серый, рассеянный свет, который делал всё вокруг плоским, безжизненным.

Отец работал инженером на каком-то заводе. Я плохо помню, что именно он делал, помню только, что приходил поздно, уставший, молчаливый. Снимал ботинки в коридоре, вешал пиджак на крючок, умывался в общей ванной, ужинал тем, что мать оставляла на плите. Потом садился в кресло с газетой и засыпал прямо так, с развёрнутой страницей.

Мать работала в поликлинике регистратором. Она любила говорить об этом с гордостью: «Я в медицине». Будто записывание людей на приём к врачу делало её частью чего-то важного. Может, для неё это и было важно – она вообще любила чувствовать себя нужной, востребованной. В её голосе, когда она рассказывала о работе, звучала особенная интонация, которой не было, когда она говорила обо мне.

Я была тихим ребёнком. Таким, о котором учителя говорят: «Молодец, не мешает». Не хулиганила, не капризничала, не требовала внимания. Сидела в своём углу и рисовала. Рисовала на всём, что попадалось под руку: на старых газетах, на оборотной стороне обоев, которые отец приносил с работы, чтобы поклеить в коридоре, на полях учебников. Карандашом, ручкой, углём из печки на даче у бабушки.

Мать это раздражало.

– Лена, ты опять измазалась! – кричала она, увидев мои руки в чернилах. – Посмотри на себя! Как девочка из приличной семьи может так выглядеть?

Я не понимала, что не так. Руки ведь можно вымыть, а одежду постирать. А рисунки – они важнее чистоты.

Но я молчала, ничего не возражала. Шла умыться, тёрла руки хозяйственным мылом до красноты, возвращалась в свой угол и продолжала рисовать. Потому что не умела иначе.

Отец относился к моему увлечению снисходительно, почти равнодушно. Иногда, проходя мимо, останавливался, смотрел на мои каракули и говорил: «Неплохо». Или: «Старайся». Но никогда не спрашивал, что именно я рисую, почему, зачем. Для него это было просто детской забавой, которая пройдёт, как проходит всё в детстве.

А потом случилось то лето, когда мне исполнилось семь.

Мы поехали на дачу к бабушке – маминой матери, которая жила в деревне под Тулой. Крошечный домик с огородом, курами и колодезем во дворе. Для меня это был рай. Потому что там было столько цвета! Зелень травы, синева неба, жёлтые одуванчики, красные маки у забора. Всё такое яркое, живое, настоящее – не то что серый двор-колодец и выцветшие обои нашей комнаты.

Я рисовала с утра до вечера. Сидела на крыльце с блокнотом, который отец купил мне перед поездкой, и пыталась поймать эту красоту, перенести её на бумагу. Цветными карандашами, которых у меня было всего шесть – красный, синий, жёлтый, зелёный, коричневый, чёрный. Я смешивала их, накладывала один на другой, пытаясь получить нужный оттенок.

Бабушка смотрела на меня с улыбкой, иногда приносила молоко со своими лепёшками и говорила: «Ты в прадеда пошла. Он тоже любил красоту».

Я не знала прадеда. Он умер задолго до моего рождения. Но мне нравилось думать, что я в кого-то пошла. Что это не странность, а наследство.

Однажды утром отец зашёл в сарай, где бабушка хранила старые вещи, и вышел оттуда с деревянным ящичком. Потёртым, с облезшей краской, но когда он открыл его, я замерла.

Акварель.

Двенадцать кювет с красками. Не карандаши – краски настоящие, которыми рисуют взрослые художники. Некоторые засохли, некоторые потрескались, но большинство ещё можно было использовать.

– Это прадедовы, – сказал отец. – Бабушка хранила. Думаю, тебе пригодятся.

Он протянул мне ящичек, и я взяла его обеими руками, как святыню. Акварель. Настоящая акварель.

– Спасибо, – выдохнула я, и в горле вдруг встал комок.

Отец неловко потрепал меня по голове и ушёл. Он не умел выражать чувства, мой отец: он был молчаливым, немногословным, вступал в диалог, по большей части, только тогда, когда его о чём-то спрашивали. Всю жизнь он говорил не словами, а поступками. И этот ящик был, наверное, его самым громким признанием: я вижу тебя. Я понимаю.

Жаль, что я поняла это только сейчас, много лет спустя, когда он уже не мог услышать, насколько тогда это было для меня важно. И как это придало мне уверенности для построения своего собственного пути.

Я набрала воды из колодца в старую банку из-под варенья, расстелила на крыльце лист плотной бумаги и начала рисовать.

Это было настоящее откровение.

Акварель текла, растекалась, смешивалась сама собой, создавая оттенки, которых я раньше не видела. Небо получалось не просто синим, а с переливами – от бледно-голубого у горизонта до насыщенного кобальта вверху. Трава – не просто зелёной, а с вкраплениями жёлтого, охры, изумруда. Цвета жили, дышали, разговаривали между собой.

Я рисовала дом бабушки. Покосившийся забор, яблоню у калитки, кур, которые копошились в пыли. Рисовала и плакала – от счастья, от переполненности, от того, что наконец-то могу выразить то, что было внутри.

Бабушка подошла, посмотрела и ахнула:

– Господи, Ленка. Да ты... да это же точь-в-точь!

Мать, которая в этот момент развешивала бельё во дворе, подошла тоже. Посмотрела на рисунок, на меня, на рисунок снова. Лицо у неё было странным – то ли удивлённым, то ли недовольным.

– Лена намалевала, – сказала бабушка с гордостью. – Вот талант-то!

– Талант, – повторила мать, и в её голосе я услышала что-то... холодное. – Ну и что с того? Художники нищими помирают.

Она развернулась и ушла, и я осталась сидеть на крыльце с мокрым от акварели листом в руках, не понимая, что я сделала не так.

Вечером, когда мы сидели за ужином на веранде, мать вдруг сказала:

– Виктор, надо подумать, куда Лену отдать. У моей напарницы дети все в кружки какие-то ходят, по улицам не шатаются всеми днями, при деле всегда. Может, на фортепиано? Или в танцы? Надо же ребёнка чем-то занять.

– Она и так занята, – ответил отец, не поднимая глаз от тарелки. – Рисует.

– Рисует, – передразнила мать. – И что потом? Будет по подворотням картины продавать? Нет, нужно что-то серьёзное. Музыка – это культура. Это образование.

– Может, она хочет рисовать, – тихо вставила бабушка.

– Хотеть мало, – отрезала мать. – Надо думать о будущем.

Я сидела и молчала. Мне было семь лет, и я ещё не умела спорить. Но внутри, там, где слова не нужны, я уже знала: я буду рисовать. Что бы ни говорила мать. Что бы ни случилось.

Остаток лета я провела с акварелью. Рисовала рассветы и закаты, облака и деревья, кур и кота бабушки, который лениво спал на крыльце. Рисовала мать, когда она полола грядки – не глядя на неё, по памяти, пытаюсь поймать то выражение лица, которое бывало у неё в редкие моменты спокойствия. Рисовала отца, когда он сидел на скамейке у яблони с газетой – прямая спина, опущенная голова, руки на коленях.

Когда мы вернулись в Москву, акварель вернулась со мной. Я спрятала ящичек в тумбочке, под одеждой, чтобы мать не выбросила в порыве гнева. И продолжала рисовать – теперь уже не только карандашом, но и красками.

Школа началась первого сентября. Обычная школа в обычном районе, серое здание с облупившейся штукатуркой. На первом уроке рисования – его вела молодая учительница с усталым лицом и заученной улыбкой – нам сказали нарисовать семью.

Я нарисовала нас троих. Отца, мать, себя. Отец получился точно – я помнила каждую черту, каждую складку на лице. Мать тоже вышла узнаваемой – я нарисовала её с тем самым выражением, которое видела в огороде, когда она думала, что никто не смотрит. А себя... себя я нарисовала как пятно. Размытое, цветное пятно между ними.

Учительница остановилась у моей парты, посмотрела.

– Лена, а где ты?

– Вот, – я показала на пятно.

– Но это же... это не человек.

– Я так вижу, – ответила я.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, в котором было что-то похожее на жалость, и пошла дальше.

Когда мать пришла на родительское собрание, учительница сказала ей: «Ваша дочь талантлива. Очень талантлива. Может быть, стоит подумать о художественной школе?»

Мать сказала: «Подумаем».

Но я знала, что это значит. Это был такой красивый способ сказать «нет».

И вот сейчас я сидела в мастерской, окружённая десятками картин, написанных профессиональным художником – мной, и мысленно обнимала ту семилетнюю Лену, чей талант пытались спрятать в самый дальний ящик.

Моя мастерская была совсем тёмной, только свет от фонарей за окном рисовал полосы на стенах. Ничего не мешало гонять мысли в голове и предаваться воспоминаниям.

Тогда я нарисовала себя пятном, потому что искренне не понимала, кто я. Я находилась где-то между отцом, который может и хотел меня поддержать, но всегда молчал, и матерью, которая даже не пыталась разглядеть моих чувств за собственным, самым важным на свете мнением. Я разрывалась между тем, что от меня ожидали, и тем, кем я была на самом деле.

Может, я так и осталась пятном. Размытым, неопределённым, не до конца оформившимся.

Может, именно поэтому я не смогла любить Фёдора так, как он того заслуживал. Потому что любовь требует формы, границ, чёткости. А у меня были только краски, всю жизнь одни краски.

– Прости, – прошептала я в темноту. – Прости меня.

3

Я так и не легла спать той ночью. Просидела в кресле до рассвета, закутавшись в плед, который тоже пах им – его парфюмом, его кожей, его присутствием. Когда небо за окном начало светлеть, я встала, сделала кофе и села к столу с блокнотом.

Рисовать не получалось, ожидаемо... Рука замирала над бумагой, линии выходили кривыми, неуверенными. Я чиркнула несколько раз, зачеркнула, перевернула страницу. Снова чиркнула. Снова зачеркнула.

В голове всё ещё крутились обрывки воспоминаний, всплывали лица, голоса, моменты, которые я считала неважными и не хранила специально. Но память – странная вещь. Она сохраняет не то, что ты хочешь, а то, что ей самой кажется важным.

И вдруг я вспомнила – мне тринадцать, седьмой класс. Я не такая как все... Плохо это или хорошо, ещё не знаю. Но я не такая...

Школа. Перемена. Девочки из моего класса столпились у окна в коридоре – галдели, смеялись, что-то горячо обсуждали. Я проходила мимо с учебником истории в руках, собираясь в библиотеку, но Катька Тимашевская окликнула меня:

– Лена! Иди сюда!

Я остановилась. Мы не были подругами, но и врагами не были тоже. Просто одноклассницы, которые существовали параллельно, почти не пересекаясь. Она – в центре любой компании, шумная, яркая, всегда знающая, кто кому нравится и кто с кем поссорился. Я – в стороне, с блокнотом, в котором рисовала вместо того, чтобы слушать учителей.

– Что? – спросила я, подходя.

– Смотри! – Катька ткнула пальцем в окно.

Во дворе школы, у спортплощадки, стояли старшеклассники. Десятый класс, кажется. Мальчики в спортивных штанах, с сигаретами, которые курили, прикрываясь от ветра ладонями. Обычная картина.

– Ну и что? – не поняла я.

– Как что?! – Катька округлила глаза. – Димка Сергеев! Видишь, вон тот, в синей куртке? Он такой красивый! Я вчера с ним в коридоре столкнулась, и он улыбнулся! Прямо мне улыбнулся, представляешь?

Остальные девочки загалдели, подхватывая:

– Да он всем улыбается!

– Нет, на меня он по-особенному посмотрел!

– А по-моему, он на Ольгу Викторовну запал, нашу новую учительницу по литературе!

– Да ладно, она же старая!

– Ей двадцать пять, дура! Это не старая!

Они смеялись, толкались, и в их голосах было что-то лихорадочное, возбуждённое. Я стояла рядом и смотрела на этого Димку Сергеева. Высокий, светлые волосы, спортивная фигура. Ничего особенного. Обычный мальчишка, каких десятки в школе.

– Лена, а тебе кто нравится? – вдруг спросила Тимашевская, поворачиваясь ко мне.

– Никто, – ответила я честно.

– Как никто?! – она захохотала. – Да ты что, слепая? У нас столько красавчиков в школе!

– Не знаю. Не замечала.

– А Макс Соболев? – встрял другой голос. – Тебе что, Макс не нравится? Он же на тебя смотрит!

Макс Соболев сидел со мной за одной партой на алгебре. Молчаливый, немного неуклюжий, носил очки с толстыми линзами. Иногда давал списывать домашнюю работу, не требуя ничего взамен.

– Смотрит? – переспросила я.

– Ну да! Все видят! Ты что, правда не замечаешь?

Я пожала плечами. Нет, не замечала. Потому что не смотрела на людей так. Для меня они были... как сказать... композицией. Набором линий, цветов, светотеней. Макс Соболев был интересен мне своими руками – длинными, тонкими пальцами, которыми он вертел ручку на уроке. Я рисовала эти руки в блокноте, пытаюсь поймать движение. Но чтобы он мне нравился? В том смысле, в каком говорили эти девочки? Нет.

– Ты странная, – сказала Катька, разглядывая меня с любопытством. – Вообще странная. Всё рисуешь да рисуешь. Тебе вообще что-нибудь интересно, кроме этих твоих каракулей?

– Мне интересна живопись, – ответила я спокойно.

– Живопись, – передразнила она. – Подумаешь. А жизнь? Жизнь тебе неинтересна?

Я посмотрела на неё – на круглое лицо с веснушками, на блестящие от возбуждения глаза, на руки, которыми она размахивала, объясняя что-то. И вдруг увидела. Увидела, как можно было бы её нарисовать: в тёплых оттенках, с акцентом на этом румянце, на жестах. Живую, эмоциональную, такую понятную.

– Стой, – сказала я и достала из кармана блокнот.

– Что?

– Не двигайся. Вот так. Как стояла.

Я начала рисовать, быстрыми штрихами. Овал лица, глаза, нос, губы. Взмах руки. Складки на кофте. Девочки вокруг притихли, наблюдая.

– Ты что делаешь? – спросила Катька, но в голосе уже не было насмешки. Только любопытство.

– Рисую тебя.

Три минуты. Может, пять. Я оторвала лист и протянула ей.

Катька взяла, посмотрела, и лицо у неё изменилось. Исчезла дурашливая улыбка, глаза стали серьёзными.

– Это... это я?

– Ты.

– Я так не выгляжу.

– Выглядишь.

Она ещё раз посмотрела на набросок, потом на меня, потом снова на набросок. Остальные девочки столпились вокруг неё, разглядывая.

– Господи, Катька, ты прямо как настоящая! – ахнула кто-то.

– А мне нарисуешь? – попросила другая.

– И мне!

– И мне тоже!

Я убрала блокнот в карман.

– На уроках, – сказала я. – Если будет время.

Они расступились, давая мне пройти, и я пошла в библиотеку, чувствуя на себе взгляды. Не насмешливые, как раньше. Другие, с интересом. Может, даже с уважением.

Но Катька не ошиблась. Я действительно была странной. Потому что там, где они видели красивых мальчиков и первую влюблённость, я видела только линии и цвета. Там, где они мечтали о свиданиях и поцелуях, я мечтала о новых красках и большом холсте.

В тот вечер мать вернулась с работы раньше обычного. Я сидела за столом и как всегда рисовала – акварелью, на листе ватмана, который выпросила у учительницы. Рисовала вновь

вид из окна, но с другого угла зрения: серый двор-колодец, чёрные ветви деревьев на фоне жёлтого света из соседних окон. Мрачно, но красиво. Во всяком случае, мне так казалось.

Мать вошла, скинула туфли, повесила плащ. Подошла, посмотрела через моё плечо.

– Опять? – в голосе её было раздражение.

– Я рисую, – ответила я, не отрываясь от листа.

– Вижу, что рисуешь. – Она прошла на кухню, налила себе чаю, вернулась. – Лена, нам надо поговорить.

Я отложила кисть. Когда мать говорила таким тоном, спорить было бесполезно.

– О чём?

– О твоём будущем.

Я молча ждала продолжения.

– Тебе уже тринадцать. Чуть меньше, чем через пять лет – выпускной. Надо думать, куда поступать, на кого учиться. – Она села напротив, обхватила чашку руками. – Я поговорила с Валентиной Сергеевной из регистратуры. Она сказала, что в медицинское училище можно попробовать. Или в педагогический. На учительницу начальных классов, например. Хорошая профессия, стабильная.

– Я хочу учиться на художника, – сказала я.

Мать замерла с чашкой у губ.

– Что?

– Я хочу поступить в художественную школу. А потом – в институт. На художника.

– Лена... – она поставила чашку на стол, медленно, словно боялась расплескать. – Ты понимаешь, что говоришь?

– Понимаю.

– Художники нищими живут! Ты хочешь всю жизнь перебиваться с хлеба на воду? Рисовать портреты на улице за копейки?

– Не все художники нищие.

– Все, кто не гении. А гениев единицы. – Она наклонилась ко мне, глядя прямо в глаза. – Лена, я не хочу, чтобы ты мучилась. Я хочу, чтобы у тебя была нормальная жизнь. Работа, зарплата, семья, дети. Понимаешь? Нормальная жизнь.

– Ну, это ты хочешь... А что, если я не хочу нормальную? – тихо спросила я.

Мать откинулась на спинку стула, и лицо её стало жёстким, закрытым.

– Не хочешь нормальную, – повторила она. – Ну конечно. Ты же у нас особенная. Не такая, как все.

В её голосе была ирония, которая резала сильнее крика.

– Мама...

– Нет, Лена. Я не буду тебя поддерживать в этом. Не буду смотреть, как ты губишь свою жизнь из-за детской блажи. Рисуй сколько хочешь дома, в свободное время. Но учиться ты пойдёшь на что-то нормальное. На то, что даст тебе профессию.

– А если я не хочу?

– Тогда сама решай, – она встала, забрала чашку. – Но помни: я тебя предупреждала.

Она ушла на кухню, и я осталась сидеть за столом с недорисованным видом из окна. Акварель начала подсыхать, цвета тускнели. Надо было смочить, продолжить, иначе всё испортится.

Но мои руки отчего-то дрожали. В груди было что-то тяжёлое, душное, словно я проглотила камень.

Нормальная жизнь. Работа, зарплата, семья, дети.

Но и правда я не хотела такую, нормальную. Я хотела краски и холсты, мастерскую с большими окнами, где свет льётся потоками и можно рисовать с утра до ночи. Хотела жить в мире, где цвета важнее слов, а линии – важнее людей.

Это эгоизм? Наверное.

Вечером, когда отец вернулся с работы, я ждала, что мать расскажет ему о разговоре. Но она молчала. Ужинали втроём, и было тихо, неловко. Мать ела, не поднимая глаз. Отец читал газету, одной рукой поднося ложку ко рту. Я сидела и толкала вилок макароны по тарелке, не в силах проглотить ни кусочка.

– Что-то случилось? – вдруг спросил отец, оторвавшись от газеты.

– Нет, – быстро ответила мать. – Всё в порядке.

Отец бросил несколько быстрых взглядов то на меня, то на неё. Он чувствовал, что что-то не так, но не стал настаивать, расспрашивать подробности. Он вообще никогда не настаивал: то ли не хотел нарваться на гнев матери и остаться крайним, то ли просто устал и сил выслушивать о проблемах в семье уже не было. Он просто возвращался к газете, и разговор закрывался сам собой.

А я хотела, чтобы он спросил меня. Чтобы он сказал: «Лена, что ты хочешь? Кем хочешь быть?» Чтобы он встал на мою сторону, сказал матери: «Пусть рисует, если хочет. Пусть пробует».

Но это было не в его характере: сколько себя помню, он всегда был где-то в тени у матери – с одной стороны, у него вроде бы было право голоса, а с другой – он никогда этим правом не пользоваться. Мне трудно представить, что творилось у него в душе, какая буря эмоций там должна была быть, раз он никогда не давал ей вырваться наружу.

Его молчание жутко обидело меня тогда. Хотелось встряхнуть его за плечи и закричать: «Ну же, папа, поддержи меня! Ты разве не понимаешь, как это для меня важно?!» Я знала, сделаю я так, это не привело бы ни к чему хорошему: мать бы это никак не смягчило, а вот отношения между нами всеми накалились бы ещё сильнее.

После того вечера мать перестала со мной говорить о будущем. Просто перестала. Словно меня не существовало. Она готовила ужин, стирала, ходила на работу, но когда смотрела на меня, взгляд её был пустым, отстранённым. Это была известная манипуляция – наказание молчанием. Она делала так всякий раз, когда я не убрала игрушки по её просьбе или не помыла пол в коридоре, потому что наша очередь дежурить.

Тот разговор дал ей ещё один повод, и он был более веским, чем неубранные игрушки или невымытый пол. Я стала для неё проблемой, которую она решила игнорировать, надеясь, что та сама рассосётся. Но проблема не рассосалась.

Я продолжала рисовать. В школе, дома, на улице. Рисовала одноклассников, учителей, прохожих. Рисовала улицы, дома, деревья. Заполняла блокнот за блокнотом, и каждый раз чувствовала, что становлюсь лучше. Линии увереннее, цвета точнее, композиция продуманнее.

Катка Тимашевская стала кем-то вроде подруги. Не близкой, но той, с которой можно поболтать на перемене. Она перестала надо мной смеяться, а однажды даже защитила, когда кто-то из мальчишек назвал меня замарашкой.

– Отвали, Коля, – сказала она. – Ты через двадцать лет будешь механиком в автосервисе, а она – знаменитой. И тогда пожалеешь, что был таким придурком.

Мальчишка обиделся и ушёл, а я посмотрела на Катку с благодарностью.

– Спасибо.

– Да ладно, – она махнула рукой. – Просто не люблю, когда людей обижают. Особенно тех, кто что-то умеет.

– Ты думаешь, я правда стану знаменитой?

Она задумалась, посмотрела на меня серьёзно.

– Не знаю. Но если будешь очень стараться – может, и станешь. Только учти: это будет тяжело. Моя тётя в театре работала костюмером. Говорила, что все эти артисты, художники –

они по-другому живут. Не как нормальные люди. У них всё... как-то интенсивнее. И счастье, и несчастье. Ты готова к такому?

Я кивнула, хотя не понимала тогда, что она имела в виду.

Теперь понимаю.

Я подошла к окну. Рассвет окрасил небо в бледно-розовый. Город просыпался – включались огни в окнах, на улицах появлялись первые прохожие, спешащие на работу.

Те самые нормальные люди, с нормальной жизнью. Они идут на работу, возвращаются домой, обнимают детей, ужинают с семьями. У них есть привязанности, обязательства, любовь.

А у меня – только краски. То, к чему я тянулась всю жизнь и то, что с лихвой перевесило всю эту нормальность, которую мне желали другие.

Катка была права. Это тяжело – жить интенсивнее. Когда счастье ярче, а несчастье – глубже. Когда всё, что ты чувствуешь, превращается в картину, но сами чувства куда-то ускользают, теряются в процессе.

Я четко выбрала этот путь в тринадцать лет, когда мать сказала: «Не буду тебя поддерживать». Может это было подростковым бунтом, а может ошибкой или же судьбой.

Но всё это привело меня в ту точку, где я нахожусь сейчас: одна, в мастерской, заполненной холстами и пустотой.

4

Солнце поднималось всё выше, и мастерская наполнялась светом. Тем самым утренним светом, который я всегда любила больше всего – холодным, чистым, безжалостным. Он выхватывал каждую деталь, каждую пылинку в воздухе, каждую трещину на холсте.

Я налила себе ещё кофе – уже третью чашку за утро – и вернулась к окну. Внизу, на улице, женщина вела за руку ребёнка в детский сад. Девочка лет пяти, в красной курточке, тащила за собой плюшевого медведя. Мать что-то говорила ей, наклонившись, девочка кивала, и они шли дальше, скрываясь за углом дома.

Снова нормальная жизнь нормальных людей. Мать и дочь. Утро, детский сад, работа, возвращение домой, ужин, сказка на ночь. Простая, понятная траектория.

Могла ли я так? Если бы выбрала иначе?

Скорее нет, чем да. Потому что в семнадцать лет я сожгла за собой все мосты.

Это случилось в мае. За месяц до выпускного.

Я уже точно знала, чего хочу и чего не хочу. Знала с той самой осени, когда случайно увидела объявление о наборе в художественное училище имени Сурикова при институте. Четыре года обучения, общежитие для иногородних, возможность получить высшее образование после. Это было всё, о чём я мечтала.

Документы нужно было подать в июне, экзамены – в июле. Вступительные: рисунок, живопись, композиция. Я готовилась сама, по книгам из библиотеки, рисовала каждый день – гипсовые головы, натюрморты, портреты. Катька иногда позировала мне после уроков, сидела на стуле в пустом классе, пока я ловила свет из высоких окон.

– Поступишь, – говорила она уверенно. – Ты же хорошо рисуешь.

– Не знаю, – отвечала я. – Там конкурс большой. Со всей страны приезжают.

– Поступишь. У тебя получится.

Её вера в меня придавала мне сил. Подумать только, в меня верила девочка, которая несколько лет тому назад и подругой-то мне не была.

Но всё упиралось в одну огромную проблему – документы. Чтобы подать заявление, нужен был аттестат о среднем образовании, паспорт и согласие родителей – мне ещё не было восемнадцати.

Согласие родителей.

Я откладывала этот разговор до последнего. Надеюсь, что мать смирилась, что за четыре года она передумала, увидела, что это не блажь, а настоящее желание. Но в глубине души знала: не смирилась.

В тот майский вечер, когда отец пришёл с работы, мать готовила ужин на кухне, я сидела за столом с учебником истории – готовилась к экзаменам. Они были уже через неделю, но меня почти не волновали. Мне не нужны были хорошие отметки для поступления в обычный вуз. Мне нужно было только одно – художественное училище.

– Мам, – сказала я, когда она принесла тарелки. – Пап. Мне нужно с вами поговорить.

Мать замерла на полпути к столу. Я редко заводила разговоры первой, предпочитала как и отец, не привлекать к себе лишнего внимания, пока меня не спросили. Поэтому она сразу заподозрила неладное, это отразилось у неё на лице. Отец нехотя поднял глаза от газеты.

– О чём? – спросила мать настороженно.

– Я решила. Куда буду поступать.

Мать медленно поставила тарелки на стол, села. Лицо её было непроницаемым: в глубине души она надеялась, что я выберу один из «серьёзных» вузов, которые советовала мне она и её коллега, но, думаю, понимала, что моё решение осталось неизменным.

– И куда же?

– В художественное училище. Имени Сурикова.

Тишина. Тишина, которая говорила больше любых слов. Я почувствовала как колотится сердце у меня в груди, как ладони становятся влажными. Я ощущала себя так, словно совершила гадкий проступок и вот пришло время признаться в нём. Но я не совершала... Это был мой выбор и я имела на него право.

Отец сложил газету, положил на край стола. На секунду мне показалось, что он возьмёт слово первым, мне было очень интересно, что он скажет. Если реакцию матери я знала наперёд, то его мысли мне были неведомы. Он всегда был для меня немного человеком-загадкой, хоть мы и жили под одной крышей. Но он лишь откашлялся, не сказав ни слова после.

Мать же смотрела на меня так, словно я только что сказала, что собираюсь на Марс.

– Лена, – начала она, и голос был ровным, но я слышала напряжение под этим спокойствием. – Мы же говорили об этом. Много раз говорили.

– Я знаю. Но я приняла решение.

– Ты приняла решение, – повторила она. – В семнадцать лет. Ты вообще понимаешь, что это значит?

– Понимаю.

– Нет, не понимаешь! – голос её опять сорвался на привычный уже крик. – Ты не понимаешь, что будет дальше! Четыре года в этом училище, потом что? Работа? Какая работа? Где? За какие деньги?

– Я буду художником. Буду рисовать, продавать картины...

– Картины! – она засмеялась, но смех был горьким, почти истерическим. – Ты знаешь, сколько людей пытается продать картины? Тысячи! Десятки тысяч! И все они голодают! Ты хочешь голодать? Жить в комнате без удобств и радоваться, если кто-то купит твой рисунок за сто рублей?

– Я справлюсь.

– Ты справишься, – она покачала головой. – Боже мой. Ты просто не понимаешь, какую глупость собираешься совершить.

– Это не глупость, – я старалась говорить спокойно, хотя внутри всё кипело. – Это моя жизнь. Мой выбор.

– Твой выбор, – она откинулась на спинку стула, сложила руки на груди. – Хорошо. Делай свой выбор. Но без моего согласия.

– Мама...

– Тебе нет восемнадцати, а я не подпишу документы. Не дам согласия. Не буду участвовать во всём этом безумии.

Я посмотрела на отца умоляюще. Вот он, тот момент, когда одно его слово, одно его решение могло всё изменить. Но он сидел молча, глядя в тарелку. Руки его лежали на столе, пальцы сжимали край стола. Какие мысли тогда крутились в его голове, я могу лишь догадываться. Я прочитала в его взгляде всё то, что он так усиленно прятал: да, он боится перечить матери, боится, что если она окажется права, то он никогда себе этого не простит. В свои сорок с лишним лет он так и не научился принимать взвешенные решения и нести за них ответственность, пусть даже и в одиночку.

– Пап, – позвала я с надеждой. – Скажи ей. Скажи, что ты понимаешь.

Он наконец поднял глаза. В них промелькнуло что-то... усталость? Грусть? Я не могла разобрать.

– Лена, – сказал он после долгой паузы. – Может, мама права. Может, стоит подумать о чём-то более... надёжном?

– Более надёжном, – повторила я, и в груди окончательно что-то оборвалось. – Ты тоже так думаешь?

– Я думаю о твоём будущем.

– А я думаю о своей жизни. О том, что хочу делать каждый день, каждую минуту. Ты же сам мне краски подарил. Помнишь? Когда мне было семь лет. Прадедовы краски.

– Помню, – он кивнул. – Но это было... это было давно, Лена. Ты была ребёнком. А сейчас надо думать серьёзно.

– Я и думаю серьёзно! – я встала, стул со скрипом отъехал назад. – Я думаю серьёзно уже десять лет! Я рисую каждый день, я готовлюсь к экзаменам, я знаю, чего хочу! А вы... вы просто боитесь!

– Боимся? – мать тоже встала, и лицо её покраснело. – Мы боимся за тебя, неблагодарная! Боимся, что ты сломаешь себе жизнь из-за детской мечты!

– Это не детская мечта! Это моя жизнь!

– Твоя жизнь, – она шагнула ко мне, и в глазах её была ярость, которую я видела впервые. – Хорошо. Живи своей жизнью. Но не на мои деньги. Не в этой квартире. Не с нашей поддержкой.

Я застыла как вкопанная.

– Что?

– Ты слышала. Хочешь стать художником – вперёд. Снимай комнату, устраивайся на работу, подавай документы сама, когда исполнится восемнадцать. Но здесь ты больше не живёшь.

– Ира, – тихо сказал отец. – Может, не надо так...

– Надо! – она обернулась к нему. – Надо, Виктор! Она должна понять, что жизнь – это не игра! Что нельзя просто делать, что хочется!

– Значит, так, – я старалась, чтобы голос не дрожал, но он не слушался. – Если я выберу художественное – меня выгоняют?

– Именно так.

Я посмотрела на отца, призывая хоть как-то вмешаться. Но даже сейчас он сидел, опустив голову, и молчал. В тот момент, когда я ждала, что он вступится за меня, защитит, запретит матери разговаривать со мной так и, тем более, выгонять, – он просто молчал. Я поняла – больше рассчитывать мне не на кого, у меня есть только я.

– Хорошо, – сказала я. – Тогда я ухожу.

Я развернулась и пошла в свой угол за шкафом. Достала старую спортивную сумку, начала складывать вещи. Одежда, блокноты, краски, кисти. Руки дрожали, но я заставляла себя двигаться, не останавливаться, не думать. Хотя мысли сами врываются в мою голову – нет, это не может быть правдой... Сейчас она одумается, предложит ещё раз серьёзно поговорить, остановит меня...

Но мать стояла в дверях и просто наблюдала.

– Ты серьёзно? – спросила она, и в голосе впервые появилась неуверенность. – Лена, ты серьёзно собираешься уйти?

– Ты же сама сказала, – ответила я, не оборачиваясь. – Здесь я больше не живу.

– Лена, не будь душой! Куда ты пойдёшь? У тебя нет денег, нет ничего!

– Найду.

Я застегнула сумку, взяла её и пошла к двери. Отец встал, сделал шаг мне навстречу.

– Лена, подожди...

– Что? – я остановилась, повернулась к нему. – Ты хочешь что-то сказать? Хочешь меня остановить? Впервые за десять лет, неужели?

Он открыл рот, но так и не проронил ни слова. Не знаю, оттого ли, что испугался сурового взгляда матери или просто не нашёлся, что сказать.

– Вот и я так думала, – сказала я и вышла.

В коридоре запахло соседским супом. Где-то играло радио. Я шла к выходу, и за спиной услышала голос матери:

– Ты пожалеешь! Лена, точно тебе говорю, ты пожалеешь!

Я не обернулась.

Вышла на улицу. Май, вечер, тепло. Люди гуляли, смеялись, сидели на лавочках. Обычный день из обычной жизни обычных людей. Для них всё течёт своим чередом, все выборы сделаны, все пути найдены. А для меня – это был последний день прошлой жизни, которая хоть и сковывала меня по рукам и ногам, но была понятной и безопасной.

Теперь же я шла вперёд и не знала, куда иду. Когда я читала в книгах, как герой шел, куда глаза глядят, я не представляла, что это ощущается именно так. Тотальное одиночество и потерянности, как будто почву выбили из под ног. С одной стороны, у меня больше не было опоры, не было кого-то, кто мог сказать мне как поступить, что хорошо, а что плохо. А с другой – когда я просто шла, прижимая к себе сумку с красками, я думала о том, что я свободна.

Страшно? Да. Очень страшно.

Первую ночь я провела у Катки. Её мать встретила меня настороженно, но когда Катка шепотом что-то ей объяснила, лицо её смягчилось.

– Оставайся, сколько нужно, – сказала она. – Но твоим родителям нужно позвонить. Они наверняка волнуются.

– Не нужно, – ответила я. – Они знают, где я.

Мы спали с Каткой на одной кровати, я – у стены, она – с краю. Я не могла уснуть, лежала с открытыми глазами, слушала, как она дышит рядом, и думала: что дальше?

– Лен, – прошептала вдруг Катя. – Ты не спишь?

– Не сплю.

– Ты правда больше не вернёшься?

– Не знаю.

– А если извинишься? Скажешь, что передумала?

– Я не передумала.

Она помолчала, потом повернулась ко мне.

– Знаешь, моя мать говорит, что родители всегда прощают. Что бы ни случилось. Может, твои тоже простят?

– Может, – согласилась я, хотя не верила. – Но сначала им нужно понять, что я была права.

– А если ты неправа?

Я не ответила, хоть и задумалась. Нет! Как я могу быть неправа, если это моя жизнь и я вольна сама в ней совершать ошибки, свои собственные ошибки?

Утром я ушла. Мне было беспокойно там: мы были подругами, да, но я чувствовала напряжение. Я понимала, что в любую минуту меня могут сдать родителям, а они, в свою очередь, могут примчаться сами или же попросить выставить меня за дверь и больше никогда не помогать. Я не хотела, чтобы у Кати были проблемы из-за меня. Не могла этого допустить. Она и так выгораживала меня как могла.

Каткина мать, мягкая и деликатная женщина, дала мне денег – триста рублей, всё, что было в кошельке. Уж не знаю, что такое сказала ей Катка, но эти деньги были мне совсем не лишними. Мы обнялись с подругой на прощание, я быстро собралась, боясь заплакать, и пошла.

Первые дни были адом. Я скиталась по городу с сумкой в руках, искала дешёвое жильё. Все объявления требовали залог, предоплату, заплатить за услуги посредников. У же меня не было ничего. Только триста рублей, блокноты и краски. И о чём я думала вообще, когда уходила в никуда?

Ночевать приходилось в вокзальных залах ожидания: благо за эти две ночи я не нарвалась на неприятности и даже не угодила в лапы милицейского патруля. Только потом поняла, как же несказанно мне повезло и как судьба, оказывается, ко мне благосклонна.

На третий день я зашла в кафе на окраине – там висело объявление: «Требуется официантка». Меня взяли без вопросов, когда я сказала, что готова работать за минимальную зарплату и на любом графике. Начинать можно было сразу.

Хозяйка, женщина лет пятидесяти с крашеными рыжими волосами и усталым лицом, посмотрела на меня оценивающе.

– Где живёшь?

– Пока нигде.

– Сбежала из дома?

Я кивнула. Она вздохнула, покачала головой, но как будто бы вовсе не удивилась.

– Ладно. Поработаешь неделю, посмотрю, как справишься. Если нормально – помогу с жильём. У меня есть знакомая, сдаёт комнаты студентам за недорого. А пока ночуй тут, в каморке, раскладушка там имеется. Не хоромы, конечно, но тебе-то в твоей ситуации жаловаться грех.

– Спасибо, – выдохнула я.

– Не благодари раньше времени. Работа тяжёлая. Думаешь, выдержишь?

– Выдержу.

И я правда выдержала.

Работала с утра до вечера, мыла полы, носила тарелки, улыбалась посетителям, хотя ноги гудели, а спина ныла. Руки пахли моющим средством и жареным маслом, но вечерами, когда я приходила в крошечную комнату, которую сняла через неделю, я всё равно рисовала.

Комната была на первом этаже старого дома, окно выходило на нежилое строение, света почти не было. Из мебели только кровать, стол, стул и небольшой шкафчик для одежды. Ванная и туалет – общие на этаже. Но это было моё. Мои четыре стены, где никто не говорил, что я трачу жизнь впустую.

Я расставила краски на столе, повесила на стену первый рисунок – вид из окна, серый подвал и кусочек неба сверху. Не самый вдохновляющий пейзаж, но честный.

Ночами, когда город засыпал, я садилась к столу с кистью в руках и рисовала. Рисовала всё, что видела за день: лица посетителей кафе, улицы, дома, себя в зеркале. Рисовала до тех пор, пока глаза не слипались, а пальцы не переставали слушаться.

Родители не искали меня. Мне было больно от того, как со мной поступили: вычеркнули из жизни даже не попытавшись понять. В особенно тяжёлые смены в кафе, после которых я без сил падала на кровать, я мечтала, что мать придёт ко мне или хотя бы позвонит, чтобы извиниться и сказать, как была не права. Эти мечты рассеивались с каждым днём всё сильнее – она даже не пыталась найти меня, молчание с той стороны было полным.

В июне исполнилось восемнадцать. Я пошла в училище, подала документы сама, без согласия родителей. Прошла экзамены – те самые – рисунок, живопись, композицию. Результаты объявили в конце июля.

Я поступила.

Когда увидела свою фамилию в списках, стоя у доски объявлений в вестибюле училища, колени подогнулись. Я опустилась на корточки прямо там, на полу, обхватила голову руками и дала себе минуту слабости.

Я поступила.

Рядом радовались другие абитуриенты – обнимали родителей, смеялись, плакали от счастья. А я сидела одна, в выцветшей футболке и джинсах, с руками, которые всё ещё пахли моющим средством, и думала: я сделала это. Сама.

Я гордилась собой, но вместе с тем чувствовала необъяснимую пустоту. Вероятно из-за того, что с кем было разделить эту радость. Рассказала Катьке, конечно, но это было уже сильно позже. А вот так, в моменте, поделиться нахлынувшими эмоциями было не с кем.

Поддавшись порыву, я вышла на улицу, дошла до ближайшего таксофона, набрала домашний номер. Гудки. Раз, два, три... Трубку взял отец.

– Алло?

– Пап, это я.

Примерно минуту я слушала тишину и постепенно трезвела от захватившей меня эйфории. Не надо было звонить, зачем я...

– Лена?

– Я поступила, – быстро выпалила я. – В художественное, как мечтала. Я поступила.

Ещё одна тишина, на сей раз дольше. Она заставила окончательно разувериться в правильности моего эмоционального порыва. Вновь мои ожидания не оправдались. Но ведь они мои... отец и не был обязан их оправдывать.

– Пап, ты слышишь?

– Слышу, – голос его был глухим и безэмоциональным. – Поздравляю.

– Можно я приду? Заберу остальные вещи?

– Подожди.

Я слышала, как он разговаривает с кем-то – наверное, с матерью. Потом снова его голос:

– Приходи в субботу днём. Мать будет на работе.

– Хорошо. Спасибо.

Я повесила трубку и стояла ещё несколько минут, глядя на телефон. Он не сказал, что гордится, а я так хотела это услышать. Хотела, чтобы он назвал меня доченькой, что случилось разве что в детстве... Хотела, чтобы сказал как ждёт меня, что всегда будет мне рад. Но он произнёс только это сухое: «Приходи в субботу».

Но и это было лучше, чем совсем ничего.

Я всё ещё стояла у окна, сжимая в руках остывшую чашку кофе, освобождаясь от воспоминаний о своей непростой юности.

Семнадцать лет. Побег. Первая комната, первая работа, первая победа.

Я думала тогда, что вот оно – начало. Путь большинства творческих людей непрост и тернист, но за ним открываются бесконечные возможности. Думала, раз я смогла пережить это, то теперь уж мне всё по плечу.

Но я не знала, что такая желанная мной свобода – это ещё и одиночество. Что каждая победа, и маленькая, и большая, будет праздноваться в пустой комнате. Что с каждым годом пропасть между мной и остальным миром будет становиться всё шире.

Не знала, что через двадцать с лишним лет я буду стоять вот так – одна, в мастерской, полной картин и пустоты, и думать: а стоило ли оно того?

Стоило ли?

5

День тянулся невыносимо долго. Я пыталась заставить себя что-то делать – разобрать какие-то свои бумаги, на которые вечно не хватало времени, вымыть кисти, да хотя бы убраться в мастерской. Но руки не слушались, мысли разбегались, и я снова оказывалась терялась в лабиринтах воспоминаний, лишь иногда глядя на Фёдора, словно он мог вдруг ожить и объяснить мне всё.

К вечеру я сдалась. Легла на диван, не раздеваясь, натянула на себя плед до самых ушей и закрыла глаза.

Но сон не шёл, несмотря на то, что я не сомкнула глаз ночью.

Вместо сна приходили моменты из очень далёкого прошлого – одно за другим, как слайды старого диапроектора. Щёлк – и вот я в той первой комнате, крошечной, пахнущей сыростью. Щёлк – и вот Анна Борисовна стоит в дверях с чашкой чая. Щёлк – и я рисую портрет её умершего мужа при свете настольной лампы.

Анна Борисовна.

Я не вспоминала о ней уже много лет. Но сейчас, лёжа в темноте, я вдруг отчётливо вспомнила её лицо – морщинистое, усталое, но с добрыми заботливыми глазами. И голос, мягкий, чуть хрипловатый от возраста и сигарет, которые она курила тайком на балконе.

Это случилось через полгода после поступления в училище.

Комната, которую я снимала, была дешёвой по одной причине – она была ужасной. Сырость, плесень в углах, окно, которое летом не открывалось вовсе, а зимой, наоборот, не закрывалось как следует, и холод, от которого не спасало даже старое ватное одеяло. Я болела постоянно – то простуда, то бронхит, то что-то ещё. Работала, училась, рисовала, почти не спала, почти не ела. Деньги уходили на краски, холсты, оплату комнаты. На еду оставались какие-то копейки, но тогда меня это устраивало – я не привыкла шиковать. Уходя из дома я прекрасно понимала, что придётся затянуть пояс потуже, чтобы просто выжить, просто дойти до конечной и очень желанной точки, которую я себе обозначила.

Хозяйка комнаты – злобная старуха, которая жила этажом выше – постоянно повышала цену. То за электричество, то за воду, то просто потому что так захотелось. Я платила молча, потому что искать другое место не было ни времени, ни сил. Благо, она никогда не приходила без предупреждения и никогда не вторгалась в мое пространство – я это очень ценила.

Однажды утром – мне было восемнадцать с половиной – я проснулась от того, что не могла дышать. Ужасное чувство, когда лишаешься того, что умел делать по умолчанию... умел, а теперь вдруг не можешь, и не знаешь, что с этим делать. Помню, горло горело безумной болью, в груди хрипело, температура была такая, что руки дрожали, а пот лился ручьём. Я попыталась встать, добрести до кухни за водой, но ноги подкосились. Я упала прямо на пол, и последнее, что осталось в памяти тогда – холодный линолеум под щекой и мысль: «Надо встать. Надо идти на учёбу».

Очнулась я в больнице. Стандартная обстановка предстала передо мной – белоснежно белые стены с вкраплением то ли серых, то ли синеватых оттенков, старая рама окна с облупившейся краской и едкий запах лекарств.

Воспаление лёгких, сказали врачи. Если бы я ушла тогда на учёбу, подлатав свой измученный организм горстью лекарств, как делала это часто при простудах, – и было бы поздно. Меня продержали около недели, кололи антибиотики, не забывали ежедневно ругать за то, что запустела. Я лежала в палате на шесть человек, смотрела в потолок и думала: что дальше?

Радужных перспектив у меня не было: мне предстояло вернуться в мою комнатку, которой я искренне радовалась в начале своего пути, и которую также искренне ненавидела

сейчас. Сырость и холод делали мою борьбу за выживание во сто крат сложнее, а плесень добавляла сверху ещё. На ремонт банально не было денег, поэтому оставалось смиренно ждать весны и попытаться не умереть.

Когда меня выписали, у крыльца больницы стояла женщина, на мгновение мне показалось, что она ждала меня. Пожилая, лет шестидесяти, в тёмно-синем пальто и берете. Я не узнала её сразу, но она подошла первой.

– Лена?

– Да, – я остановилась, озадаченная. – Вы... простите, мы знакомы?

– Анна Борисовна, – она протянула руку. – Я соседка твоей хозяйки. Живу этажом ниже.

Я пожала руку машинально, не понимая, зачем она здесь, но комок тревожности поспешил накатить на меня со всей своей стремительностью.

– Я слышала, что тебя увезли на скорой, – продолжила она. – Решила узнать, как ты. Пришла вчера, сказали – выписывают сегодня.

– Спасибо, – я всё ещё не понимала. – Очень мило с вашей стороны, но...

– Ты вернёшься в ту комнату? – перебила она, желая сразу же перейти к делу.

Я замолчала. А что я могла ответить? У меня просто не было других вариантов. Жильё за такую смешную цену найти вряд ли удастся, а зарабатывать больше я ещё не научилась. Конечно вернусь, придётся вернуться.

– Нет, – сказала Анна Борисовна твёрдо, не дождавшись моего ответа. – Не вернёшься. Умрёшь там к весне. Пойдём со мной.

– Куда?

– Ко мне. Я сдаю комнату очень недорого. И условия нормальные – не то что у Прасковьи Никитичны.

– Я не могу, – начала я. – У меня нет денег на переезд, на залог...

– Ничего не надо, – она махнула рукой. – Переедешь, поживёшь месяц, потом решим. Пойдём, пойдём, я покажу.

Я пошла, потому что не было сил спорить. Хотя в больнице меня и подлечили, насколько это было возможно, я была ещё слаба. Всё, чего мне хотелось, это зайти в тёплую комнату, лечь в постель и вздремнуть пару часов. Даже о картинах я сейчас не думала, впервые за долгое время. Да и в голосе моей новой знакомой была такая уверенность, что казалось глупым сопротивляться.

Квартира Анны Борисовны находилась в том же доме, как она и сказала – прямо под квартирой моей хозяйки. Она открыла дверь, и я словно шагнула в другой мир.

Пахло книгами, кофе и чем-то ещё – может быть, лавандой, может, просто чистотой. Коридор был узким, но уютным. На стенах висели фотографии в рамках, на полке стояли фигурки из фарфора. Анна Борисовна провела меня в комнату.

Небольшая, метров двенадцать. Окно – настоящее, большое, выходящее во двор, где росли деревья. Кровать с чистым бельём, стол, стул, старый комод. Книжная полка, заставленная томами в потрёпанных переплётах. И – главное – тепло. Настоящее тепло, от батареи под окном.

– Вот здесь, – сказала Анна Борисовна, наблюдая за моей реакцией. – Что скажешь?

– Это... – я не могла подобрать слов. – Это слишком хорошо. Я не смогу заплатить столько, сколько это стоит.

– А я и не прошу много. Три тысячи в месяц. Плюс за свет и воду – пополам, по счётчику.

Три тысячи. Это было даже меньше, чем я платила за ту дыру.

– Почему? – спросила я прямо. – Почему так дешево?

Анна Борисовна прошла к окну, посмотрела на деревья во дворе. В глазах её появилась еле уловимая тоска, как будто своим вопросом я расковыряла то, что давно болело.

– Потому что одной скучно, – сказала она просто. – Муж умер пять лет назад. Дети в другом городе, редко приезжают. Квартира большая, пустая. Хочется, чтобы кто-то был. Молодой голос, шаги, жизнь какая-то.

Она повернулась ко мне, и в глазах её теперь уже была такая глубокая грусть, что мне захотелось обнять её.

– Я не шумная, – предупредила я, чтобы как-то разрядить обстановку. – Я много рисую. Иногда по ночам.

– Рисуешь? – она заметно оживилась. – Художница?

– Учусь на художника.

– Замечательно! – она даже в ладоши хлопнула. – Мой Николай тоже рисовал. Любил очень. У меня остались его альбомы, покажу как-нибудь. Так что – переезжаешь?

Я посмотрела на комнату, на окно с деревьями, на Анну Борисовну с её доброй, усталой улыбкой. Попыталась найти подвох, потому что не могла поверить своему счастью, тому, что мне наконец повезло... Но так и не нашла его: каждая клеточка моего тела уже стремилась в эту комнату, жить в ней счастливую жизнь, наслаждаться творчеством. Даже моё самочувствие как будто бы улучшилось мгновенно, стоило только переступить порог этой уютной квартиры.

– Переезжаю, – сказала я, и впервые за много месяцев почувствовала, как что-то тёплое разливается в груди. – Спасибо.

Я переехала на следующий же день. Вернувшись в свою комнату, я так и не дала себе времени для отдыха, в сразу принялась за сборы. Вещей было немного – сумка с одеждой, коробка с красками и кистями, несколько холстов. Анна Борисовна помогла мне нести, хотя я её даже не просила.

– Ерунда, – отмахнулась она. – Я ещё не такое таскала.

Когда я разложила вещи – всё по своим местам, она постучала в дверь и вошла с подносом.

– Чай, – сказала она. – С пирогом. Я сегодня испекла, думаю – новая жилища, надо встретить по-человечески.

Мы сидели за столом, пили чай, и Анна Борисовна рассказывала. О муже, Николае, который работал инженером на заводе, прямо как мой отец, но в душе был художником. О том, как они познакомились – на танцах в клубе, ей было семнадцать, ему – двадцать. О том, как он рисовал её портреты, и она до сих пор хранит их в шкафу. О том, как он умер – тихо, во сне, от сердца.

– Я проснулась, а он лежит рядом, такой спокойный, – говорила она, и голос её дрожал. – Подумала сначала, что спит. Потрогала руку – холодная. Вот так. Пять лет уже прошло, а я всё не привыкну.

Я молчала, не зная, что сказать. Слова казались неуместными. Поэтому я сделала глоток чая, опустив глаза, пока её вопрос не вытащил меня из собственных мыслей.

– А ты почему одна? – спросила вдруг Анна Борисовна. – Девочка молодая, красивая. Неужели нет никого?

– Нет, – ответила я. – Мне некогда. Больше всего в жизни я люблю живопись: каждую свободную минуту посвящаю ей. А днём у меня учёба, потом работа... Времени не остаётся.

Она посмотрела на меня так, словно видела насквозь. Этот пронзительный взгляд всколыхнул во мне что-то, что я давно уже спрятала глубоко в себе. Вдруг мне показалось, что я оправдываюсь за то, что живу не так как другие. Я вновь ощутила себя неправильной и вновь засомневалась в правильности своего выбора. Я не верила в свои собственные слова, сказанные только что... Не при чём здесь время, не при чём...

– Времени всегда нет, когда не хочешь его находить, – сказала она мягко. – Но ты ещё молодая. Поймёшь позже.

В душе я воспротивилась её словам, хоть и промолчала: это был болезненный укол – мне снова показали, что я ошибаюсь, а я снова не поняла в чём. Поняла только сейчас, много лет спустя.

Жизнь в квартире Анны Борисовны была совершенно другой, отличной от влачения жалкого существования в комнатухе с плесенью. Здесь было спокойно и тепло, и не только благодаря батарее под окном. Я приходила с работы или с учёбы, и она всегда спрашивала: «Ну как?» Не из вежливости, а по-настоящему интересуясь. Я рассказывала – о занятиях, о преподавателях, о том, что получилось на холсте, а что нет. Она слушала, кивала, иногда давала советы, которые казались странными, но почему-то работали.

– Когда Коля не мог нарисовать что-то, он отходил от мольберта, – говорила она. – Садился в кресло, закрывал глаза и представлял картину целиком. А потом возвращался и рисовал сразу, без правок. Говорил, что нужно видеть всё сразу, а не по частям.

Я тоже это пробовала потом. Иногда помогало.

По вечерам мы пили чай на кухне. Анна Борисовна рассказывала интереснейшие истории из своей жизни, а я молчала и слушала. Мне нравилось просто быть рядом. Она была тем, чего мне не хватало – теплом, которого я не получила от собственной матери.

Однажды вечером, примерно через месяц после переезда, она сказала:

– Лена, мне нужна твоя помощь.

– Конечно, – я тут же отложила кисть. – Что случилось?

– Не случилось. Просто... – она замялась. – У меня есть просьба. Большая просьба.

– Говорите.

Она прошла в свою комнату, долго копошилась в ящике серванта и вернулась с фотографией. Чёрно-белой, выцветшей. На фотографии был мужчина лет сорока – в строгом костюме, с серьёзным лицом и добрыми глазами.

– Это Коля, – сказала она тихо. – Мой муж. Я хочу, чтобы ты нарисовала его портрет. Настоящий, красками. Чтобы я могла повесить над кроватью и смотреть на него, как будто он здесь, рядом.

Я взяла фотографию, всмотрелась. Удивительно, что мы так много говорили о Николае, а видела я его сейчас в первый раз. Лицо незнакомое, но в нём было что-то... что-то хорошее. Честность, может быть. Или просто человечность.

– Я нарисую, – сказала я. – Конечно, нарисую. Только...

– Что?

– Я не смогу взять с вас денег.

– Девочка моя милая, ты что! Это же работа!

– Нет, – я покачала головой. – Это не работа. Это... благодарность. За комнату, за доброту, за то, что вы есть. Я нарисую.

Анна Борисовна прижала руки к груди, и в глазах её заблестели слёзы.

– Спасибо, – прошептала она. – Спасибо, моя хорошая.

Я рисовала портрет Николая три недели. Каждый вечер, после учёбы, садилась к мольберту в своей комнате и работала. Анна Борисовна приносила чай, стояла позади и смотрела, как рождается изображение.

Это был первый портрет, который я писала не для себя. Не для практики, не для оценки в училище – для человека, на заказ. Для того, чтобы вернуть ей мужа хотя бы на холсте.

Я вложила в него всё, что умела: не каждый мазок был выверенным, а оттенок – точным. Один раз мне пришлось и вовсе начать заново, потому что краска легла не так, как мне хотелось. Ещё пару раз я остервенело соскабливала её и тут же покрывала поверх новой, чтобы не начинать сначала. Я не могла подвести Анну Борисовну: понимая, как это важно для неё, я

хотела изобразить Николая идеально, чтобы она каждый день видела его – живого, дышащего, смотрящего на неё с любовью.

Когда портрет был готов, я позвала её.

Это был поистине волнующий момент для меня. А вдруг ей не понравится? Вдруг я увидела его не таким, каким его всю жизнь видела она... Сердце билось учащённо, дыхание сбивалось, но я смотрела на получившуюся картину и не могла отвести взгляд: нет, я определённо больше не хотела ничего менять в этом портрете. Анна Борисовна вошла, и остановившись на пороге, достаточно далеко от холста, впервые посмотрела на изображение того, кого так сильно любила. И заплакала... Просто стояла и плакала, не стесняясь слёз.

– Это он, – проронила она сквозь рыдания. – Это мой Коля. Точь-в-точь. Боже мой, Леночка, да как ты это сделала?

– Не знаю, – выдохнув с облегчением, призналась я. – Просто писала портрет. И думала о вас, вашей истории. О том, что вы рассказывали.

Она подошла, обняла меня так крепко, что я впервые за много лет почувствовала объятие матери. Не родной – той, которая меня отвергла из-за неверно выбранного пути. А настоящей. Той, которая принимает без каких-либо условий.

– Спасибо, – шептала она. – Спасибо, девочка моя.

Портрет мы повесили над кроватью в её комнате. Иногда, проходя мимо, я видела, как она стоит перед ним и разговаривает. Тихо, почти шёпотом. Как будто он действительно здесь.

Я прожила у Анны Борисовны четыре года. Все годы учёбы в училище. Она стала мне семьёй – больше, чем родная мать когда-либо была. Поддерживала, когда было тяжело. Родовалась моим успехам. Ругала, когда я забывала поесть или не спала всю ночь, погружившись в изображение очередного человека или пейзажа. Учила готовить, хотя, признаться честно, я была безнадёжна на кухне. Рассказывала о жизни, о любви, о том, как важно не забывать о людях в погоне за мечтой.

– Живопись – это прекрасно, – говорила она. – Но картины не обнимут тебя, когда будет одиноко. Не скажут доброе слово, когда плохо. Не останутся с тобой, когда состаришься. Помни об этом, Леночка.

Я кивала, но больше не слушала этих речей о нормальной жизни. Уже тогда я закрыла для себя этот вопрос: мне не нужна та жизнь, что другие считают нормальной, мне нужна только моя. Мне казалось, что она не понимает, абсолютно точно не понимала. Что живопись – это и есть моя жизнь, и мне больше ничего не нужно.

Когда мне было двадцать два, Анна Борисовна умерла.

Также тихо, как и её муж. Во сне. Я нашла её утром, когда зашла проверить – она обычно вставала рано, а в тот день было слишком тихо.

Она лежала в постели, под портретом Николая, вроде бы даже с лёгкой улыбкой на губах. Словно увидела что-то хорошее перед тем, как уйти.

Я вызвала скорую, полицию, похоронное бюро. Всё сделала на автомате, просто потому что нужно было соблюсти все формальности. Я совсем не плакала, не было слёз. Может от внезапности и шока, а может из-за того, что я сумела себя собрать, чтобы совсем не расклеиться. Но ходя по квартире и чувствовала, как мир определённо становится холоднее.

Через неделю приехали её дети из другого города. Разбирали вещи, решали, что делать с квартирой. Я спешно собрала свои вещи, готовилась уезжать, хотя на тот момент ещё и не решила куда.

Сын Анны Борисовны, мужчина лет сорока с поникшим видом, позвал меня на кухню.

– Мать оставила завешание, – сказал он. – Квартиру нам, детям. Но есть одно условие. Она просила, чтобы вы могли жить здесь столько, сколько захотите. Если пожелаете, конечно.

– Я... – я не знала, что сказать, ком подошёл к горлу.

– Мы с сестрой обсудили. Продавать квартиру не будем пока. Можете оставаться. Платите только за коммунальные услуги. Устроит?

– Да, – выдохнула я. – Спасибо.

– Это не нам спасибо, – он грустно улыбнулся. – Это маме. Она вас очень любила. Говорила, что вы для неё как дочь, ещё одна.

Эти слова ударили меня током. Дочь, настоящая дочь. Я не была настоящей дочерью своей матери. Но стала ей для чужой женщины, которая приняла меня вот такую – со всеми странностями и нелепостями, с неправильной, ненормальной жизнью.

– Вот, ещё, – он протянул мне портрет Николая. – Она просила, чтобы это осталось у вас. Сказала: «Пусть помнит, что любовь важнее красок».

Я взяла портрет дрожащими руками.

– Спасибо, – прошептала я.

Когда они уехали, я поставила портрет у стены в своей комнате. Иногда Николай смотрел на меня с холста, и в его глазах была та самая доброта, которой мне не хватало.

Любовь важнее красок. Анна Борисовна пыталась это до меня донести.

Я открыла глаза.

Портрет Николая до сих пор висел где-то в глубине мастерской – на стене у двери. Но я так давно на него не смотрела по-настоящему, что он стал частью интерьера, невидимым.

Но сейчас я встала, подошла, всмотрелась.

Лицо Николая, написанное двадцать лет назад моей неопытной, но искренней кистью. Сейчас, конечно же, я использовала бы совершенно иной подход, портрет получился бы более профессиональным. Но и то старое изображение мне нравилось: наверное, поэтому я и не убрала его никуда. На нём было лицо человека, который любил женщину всю жизнь и умер с её именем на устах.

Анна Борисовна пыталась научить меня любить. Не краски и не холсты. Людей.

Не получилось.

6

А ведь он действительно много значил для Анны Борисовны... Портрет, имею в виду. Это та частичка, которая ещё связывала на этой земле с её Николаем. Кто бы чего не говорил – а фотографии, пусть даже самые качественные, не в силах передать характер человека, его душу.

Смотря сейчас на портреты в мастерской, я не могла понять, почему именно тот долгое время был для меня особенным, не только оттого, что первый... Возможно именно благодаря ему я стала портретисткой, задвинув на второй план так манившие меня пейзажи и, набившие оскомину во время учёбы, натюрморты.

Что-то привлекало меня в нём до сих пор... Как и в истории его написания.

Было раннее утро, когда я начала писать портрет Николая. Анна Борисовна уже ушла на рынок за продуктами – она любила ходить рано, пока толпы нет и овощи свежие. Я осталась одна в квартире, поставила мольберт у окна в своей комнате, закрепила холст и долго смотрела на фотографию.

Края потрёпаны, в правом углу – жёлтое пятно, словно её часто брали в руки. Мужчина лет сорока смотрел прямо в объектив, серьёзно, но без напряжения. Костюм тёмный, рубашка белая, галстук. Волосы аккуратно зачёсаны назад и слегка набок. Лицо обычное – не красивое в классическом смысле, но притягательное. С характером.

Я никогда его не видела живьём. Не слышала голоса, не знала, как он ходит, смеётся, хмурится. Всё, что у меня было – это фотография и рассказы Анны Борисовны.

– Он был тихим, – говорила она, когда мы сидели на кухне за чаем. – Не из тех, кто громко говорит или в центре внимания. Но когда он что-то говорил, все слушали. Потому что знали: если Коля говорит – значит, это важно.

Она улыбалась, вспоминая:

– Познакомились мы на танцах. Я стояла у стены, боялась, что меня никто не пригласит. А он первым подошёл, протянул руку и сказал: «Разрешите?» Так просто, без красивых слов. И мы танцевали потом всю ночь.

– Он хорошо танцевал? – спросила я.

– Ужасно, – засмеялась Анна Борисовна. – Наступал мне на ноги каждую минуту. Но мне было всё равно. Потому что смотрел он на меня так, будто я – единственная в мире.

Я слушала и пыталась представить. Молодая Анна Борисовна – наверняка красавица, судя по тому, как сияли её глаза, когда она вспоминала. И этот Николай, неуклюжий, серьёзный, влюблённый.

– Он рисовал меня, – продолжала она. – Постоянно. У него были альбомы, набитые моими портретами. Я говорила: «Коля, хватит, надоело!» А он: «Как может надоест рисовать красоту?»

Она достала из шкафа старые альбомы, показала. Карандашные наброски, акварели, пастель. Десятки лиц – одно и то же, но каждый раз разное. Молодая Анна Борисовна смеётся, грустит, смотрит в сторону, читает книгу, спит. Он рисовал её в разных состояниях, ловил каждое настроение, каждую эмоцию.

– Почему он не стал художником? – спросила я. – Он же так хорошо рисовал.

Анна Борисовна закрыла альбом, погладила рукой обложку.

– Деньги, – ответила она просто. – У нас были дети. Мальчик и девочка. Их надо было кормить, одевать, в школу отправлять. На заводе платили стабильно. А искусство... Коля говорил: «Искусство – это роскошь. Роскошь, которую я не могу себе позволить».

– Но он же продолжал рисовать. По вечерам.

– По вечерам, – кивнула она. – Когда дети спали, когда дела по дому были сделаны. Он садился за стол с лампой и рисовал до часу ночи. А в шесть вставал на смену.

– Не жалел?

Анна Борисовна задумалась, посмотрела на фотографию.

– Не знаю. Никогда не говорил. Но иногда, когда смотрел на свои рисунки, в глазах была такая тоска... Будто он видел другую жизнь, ту, что могла бы быть. Но выбрал нас. И не жалел о выборе. Тосковал, может. Но не жалел.

Эти слова засели в моей голове и вспоминались потом ещё долго. «Выбрал нас. Тосковал, но не жалел».

Я не могла себе представить такой выбор. Отказаться от искусства ради семьи? Это было за гранью моего понимания. Для меня искусство и было жизнью. А всё остальное – фон, необязательный декор.

Но Николай выбрал иначе. И Анна Борисовна любила его за это. Любила так сильно, что через пять лет после его смерти всё ещё не могла о нём говорить без слёз.

Я начала портрет с глаз.

Это странный подход – обычно начинают с общей композиции, с наброска всего лица. Но мне казалось важным начать с глаз. Потому что именно в них читается душа. Именно глаза отличают портрет от фотографии – они либо живые, либо мёртвые.

Я смешивала краски на палитре, добавляя серого, охры, капельку белил. Чёрно-белая фотография не давала подсказки о цвете, приходилось додумывать. Анна Борисовна говорила: «Глаза у него были тёмные, почти чёрные, но с тёплым отливом. Как у доброго медведя».

Доброго медведя.

Я улыбнулась, представляя. И положила первый мазок.

Работа шла медленно. Каждый раз, когда я думала, что поймала выражение, оно ускользало. Глаза получались то слишком холодными, то слишком пустыми, то чересчур интенсивными. Я переписывала снова и снова, соскабливая краску мастихином, начиная заново.

Анна Борисовна заходила, стояла за моей спиной, молчала. Я чувствовала её присутствие – тихое, ненавязчивое, но важное. Словно она передавала мне что-то невидимое, что-то, что нельзя объяснить словами.

– Он был добрый, – говорила она вполголоса. – Очень добрый. Никогда не повышал голос. Даже когда злился, просто молчал. Уходил на балкон, стоял, смотрел на город. Потом возвращался и говорил: «Прости. Я неправ был». Даже если был прав.

Я слушала и продолжала писать. Добавляла мягкости в линии, убирала резкость. Глаза постепенно оживали. Становились тёплыми, внимательными. Смотрящими с пониманием.

– Вы его очень любили, – сказала я тихо.

– Всю жизнь, – ответила она просто. – И буду любить до конца. Смерть не отменяет любовь, понимаешь? Он ушёл, но я всё равно просыпаюсь и иной раз думаю: «Надо сварить Коле кофе». Или вижу что-то интересное по телевизору и начинаю поворачиваться к нему: «Коль, смотри!» А потом вспоминаю. И каждый раз – как заново.

Я кивнула, хотя не понимала. Как можно так любить? Так, что даже смерть не разрывает связь?

– У тебя когда-нибудь был кто-то? – опять спросила вдруг Анна Борисовна.

– Нет, – ответила я, продолжая работать над портретом. – Не знаю. Мне всегда казалось, что это лишнее. Что любовь будет отвлекать от главного.

– От живописи?

– Да.

Анна Борисовна вздохнула.

– Коля тоже так думал, когда мы познакомились. Говорил: «Мне не нужны отношения, мне нужно рисовать». А потом влюбился. И понял, что одно другому не мешает. Наоборот – помогает. Потому что любовь даёт смысл. Без неё искусство – просто краски на холсте.

– Но он же бросил рисовать, – возразила я. – Ради вас, ради детей.

– Не бросил. Изменил приоритеты. Это разные вещи. – Она подошла ближе, посмотрела на портрет. – Он рисовал для меня. Не для выставок, не для признания. Для меня. И это делало его счастливым.

Я молчала, не зная, что сказать.

– Ты рисуешь для кого-то? – спросила она.

– Для себя, – ответила я честно.

– Вот в этом и разница.

Она ушла, нежно улыбнувшись, а я осталась перед холстом, и её слова крутились в голове: «Ты рисуешь для себя. Вот в этом и разница»

Через три недели портрет Николая был готов. Это был холст среднего размера, 60 на 80 сантиметров. Масло. Полуфигурный портрет – лицо, плечи, часть торса. Фон тёплый, охристый, будто вечернее солнце льётся из окна. Костюм тёмный, но не мрачный. Рубашка белая с лёгким кремовым оттенком. Галстук.

Но главное – лицо.

У меня не было задачи или желания скопировать фотографию. Я слушала Анну Борисовну и писала то, что слышала. Доброту в глазах. Спокойствие в складке губ. Достоинство в посадке головы. Любовь – в самом выражении, в том, как он смотрел с холста. Словно видел кого-то дорогого.

Анна Борисовна, умирив слезы, шагнула ближе, протянула руку, почти коснулась холста, но остановилась в последний момент.

– Можно? – спросила она.

– Краска ещё не высохла, – предупредила я. – Лучше не трогать.

Она кивнула, но руку не убрала. Водила пальцами в воздухе, обводя контуры лица, как будто гладила его.

– Он смотрит на меня, – шептала она. – Смотрит так же, как раньше. Будто говорит: «Всё хорошо, Аня. Я здесь».

Я молчала, чувствуя, как у самой наворачиваются слёзы. Это было странно – я почти никогда не плакала, считала слёзы слабостью. Но сейчас что-то сжалось в груди, и стало трудно дышать.

– Обещай мне кое-что, – попросила вдруг Анна Борисовна, не отрывая взгляда от портрета Николая над кроватью.

– Что?

– Не повторяй ошибку Коли.

– Какую ошибку?

Она повернулась ко мне, и в глазах её была серьёзность, почти строгость.

– Не жертвуй людьми ради искусства. Коля жертвовал искусством ради нас – и это тоже ошибка, я знаю. Но твоя ошибка будет хуже. Потому что картины не согреют тебя, когда состаришься. Не придут к твоей постели, когда будет плохо. Не останутся с тобой до конца.

– Анна Борисовна...

– Обещай, – настойчиво повторила она. – Обещай, что если встретишь кого-то – не оттолкнёшь. Не выберешь кисть вместо человека.

Я посмотрела на неё, на портрет Николая, на эту комнату, где любовь жила даже после смерти.

– Обещаю, – сказала я.

Но мы обе знали, что я лгу.

Прошло больше двадцати лет с той ночи, когда я дала обещание.

Двадцать лет, в течение которых я нарушала его снова и снова. Встречала людей, но выбирала холст. Чувствовала привязанность, но отдавала предпочтение мастерской. Любила, может быть, но недостаточно.

Портрет Николая висел на стене – молчаливый свидетель моей жизни, моих выборов, моих ошибок. Он смотрел на меня каждый день, и я видела в его глазах укор. Или мне так казалось.

Анна Борисовна умерла рядом с портретом, который я написала для неё. Она ушла счастливой, потому что прожила жизнь с тем, кого любила.

А я?

Я стояла перед недописанным портретом Фёдора и понимала: я так и не научилась.

7

День клонился к вечеру, когда я наконец пыталась заставить себя поесть – в холодильнике стояла нетронутая еда, которую я кое-как приготовила несколько дней назад. Я не знала, была ли она ещё пригодна для меня, ведь даже мысль о пище вызывала тошноту. Я налила себе воды, выпила залпом и снова уставилась в окно.

Внизу зажглись фонари. Люди возвращались с работы – уставшие, с пакетами продуктов, кто-то разговаривал по телефону, кто-то просто шёл, глядя под ноги. Для меня же весь мир сузился до размеров мастерской и воспоминаний, которые наваливались одно за другим, не давая вздохнуть.

Портрет Николая. Анна Борисовна. Обещание, которое я нарушила.

Я отчётливо вспомнила тот момент, когда впервые поняла: искусство может быть не только страстью, но и способом выжить. Когда из абстрактной мечты оно превратилось в реальность – жёсткую, требовательную, безжалостную.

Мне было двадцать два года.

Училище я окончила с красным дипломом. Не потому, что была гением, а потому что работала как проклятая. Пока другие студенты гуляли, влюблялись, ходили на вечеринки, я сидела в мастерской и писала картины. По ночам, по выходным, в каникулы. Рисовала до изнеможения, до тех пор, пока глаза не переставали различать цвета, а руки не немели.

Преподаватели хвалили. Говорили, что у меня есть взгляд, что я чувствую цвет, что из меня выйдет толк. Но что делать с этим толком после выпуска, никто не объяснял.

Диплом защитила в июне. Серия портретов под общим названием «Лица города» – двенадцать холстов с изображениями людей, которых я встречала на улицах. Старик, продающий газеты у метро. Девушка в кафе, где я работала. Дворник с метлой, вышедший на работу, едва только рассвело. Бабушка с тележкой на рынке в поисках овощей подешевле. Обычные люди, незаметные, но в каждом из них я нашла что-то – усталость, надежду, одиночество, силу.

Защита прошла успешно. Комиссия поставила «отлично», председатель сказал: «Интересная работа. Очень живая. Продолжайте в том же духе». Наверное, так говорили всем, я не знаю. Я была уверена в своих работах, поэтому оценка комиссии для меня оказалась не столь важной.

Я вышла из аудитории с дипломом в руках и чувством полной растерянности. Вот она я, художница, осуществлявшая мечту всей своей жизни – забирайте меня. Выставляйте мои картины в галереях, я хочу писать их непрерывно и быть востребованной. Но это всё не уходило дальше моих мечтаний. Куда и как двигаться дальше, я не понимала.

Институт? Можно было попробовать поступить дальше, но это означало ещё пять лет учёбы, снова экзамены, снова борьба. И главное – никаких гарантий. Что, если и после института мои работы окажутся никому ненужными? Я же впустую потрачу эти пять лет, теша себя надеждами на безбедное будущее и всеобщее признание. А жить на что-то надо было уже сейчас.

Работа? Я не понимала, где я могла бы стабильно работать по профессии. Открыть газету и найти вакансию художника было просто невозможно, они отсутствовали. Везде требовались связи, знакомства, рекомендации. У меня не было ничего из этого.

Пожалуй, впервые я вспомнила слова матери о том, что все художники нищие. И это воспоминание не выбило из колеи, а, наоборот, подстегнуло – больше всего на свете я не хотела, чтобы мать оказалась права. Мне совершенно не хотелось верить в то, что я ошиблась, ослушавшись её. И тогда я решила найти выход любой ценой.

Первый раз я вышла на Арбат в июле, через две недели после выпуска. Взяла три холста – небольшие пейзажи, которые написала ещё во время учёбы, – сложила их в сумку и поехала в центр.

Арбат в те годы был местом художников, музыкантов, уличных артистов. Туристы бродили толпами, фотографировались, покупали сувениры. А вдоль улицы стояли мольберты – десятки, может, сотни. Портреты на заказ, пейзажи, копии известных картин, карикатуры. Художники зазывали прохожих, предлагали нарисовать за полчаса, торговались, улыбались.

Я нашла свободное место у стены дома, разложила холсты на асфальте, села рядом на корточки. Чувствовала себя нищенкой. Люди проходили мимо, иногда останавливались, смотрели, но не покупали. Один мужчина даже сказал: «Красиво, но дорого». Я просила тысячу рублей за холст – по тем временам это было не слишком много.

Просидела так пять часов. Солнце жгло, спина затекла, во рту пересохло. Ни одного покупателя.

К вечеру я уже собиралась уходить, когда остановился мужчина. Лет пятидесяти, в светлом костюме, с портфелем в руке. Посмотрел на мои пейзажи внимательно, присел на корточки, чтобы разглядеть детали.

– Вы сами пишете? – спросил он.

– Да.

– Училище?

– Суриковское.

Он кивнул, словно и без моего ответа прекрасно понимал, где я училась. Поднялся и указал на холст с видом старого двора.

– Сколько за этот?

– Тысяча.

– Беру.

Я не поверила сразу, так быстро он принял решение: не торговался и не сетовал на дороговизну. Смотрела на него, ожидая подвоха – нет-нет, сейчас от точно откажется, сказав, что пошутил. Но он достал из кармана бумажник, отсчитал десять сотенных купюр, протянул мне.

– Спасибо, – выдохнула я, беря деньги дрожащими руками. – Спасибо большое.

– Не за что, – он взял холст, оценивающе посмотрел на меня. – У вас есть ещё работы?

– Дома. Много.

– Где живёте?

Я назвала примерный адрес и тут же остановилась – не предлог ли это, зачем ему знать, где я живу? Тень сомнения развеялась быстро, когда я взглянула на его задумчивое лицо.

– Далековато, – он подставил руку к подбородку и упёрся в него указательным пальцем. – Слушайте, а вы бывайте здесь регулярно. Каждую субботу, например. Приносите новые работы. Я буду заходить, смотреть. Если что понравится – куплю.

– Правда?

Я опешила. Мне всё ещё казалось, что он шутит. К чему обычному прохожему мои картины – что за вздор?

– Правда. Я коллекционирую. Не профессионально, для себя. Люблю молодых художников. У вас есть что-то своё. Сырое ещё, но есть.

Он протянул руку:

– Игорь Сергеевич Авдеев.

– Лена, – я пожала руку. – Елена Викторовна.

– Приятно познакомиться, Елена Викторовна. Жду вас на Арбате. Субботы. Не пропадите.

Он улыбнулся и ушёл, а я осталась сидеть на асфальте с тысячей рублей в руке и чувством, что только что произошло что-то важное.

В следующую субботу я пришла с пятью холстами. Игорь Сергеевич появился ближе к вечеру, посмотрел, выбрал два. Заплатил без торга. Мы впервые разговорились.

Оказалось, он владеет небольшой галереей на Остоженке. Продаёт картины, в основном классику, но иногда устраивает выставки современных художников. Не из альтруизма, конечно – если картина продаётся, он получает процент. Но всё же.

– У вас интересная техника, – говорил он, разглядывая мой очередной пейзаж. – Не академичная. Свободная. Видно, что чувствуете цвет. Но есть проблема.

– Какая?

– Пейзажи не продаются. Вернее, продаются, но плохо. Люди хотят что-то личное. Портреты. Или хотя бы жанровые сцены с людьми.

– Я пишу портреты.

– Покажите.

В следующую субботу я принесла несколько портретов из моей выпускной серии «Лица города». Игорь Сергеевич рассматривал их долго, молча. Потом сказал:

– Вот это очень неплохо... Вот это совсем другое дело.

– Правда?

– Серьёзно. Это живое, цепляет. – Он посмотрел на меня. – Слушайте, а вы не хотели бы выставиться в моей галерее?

У меня перехватило дыхание. Нет, он ведь это не серьёзно говорит. Где я – вчерашняя выпускница училища с сырыми работами, и где выставки в галереях... На между этими двумя мирами целая пропасть. Он точно шутит, это не может быть правдой.

– В галерее?

– Ну да. Небольшая экспозиция. Десять-двенадцать работ. Повесим на месяц, посмотрим, как пойдёт. Я беру тридцать процентов с продаж. Устроит?

– Устроит, – выдохнула я. – Конечно, устроит!

– Тогда готовьте работы. Желательно в едином стиле, чтобы серия смотрелась. Портреты – хороший выбор. Напишите штук пятнадцать, принесёте, отберём лучшие. Справитесь?

– Справлюсь.

Он протянул мне визитку.

– Звоните, когда будет готово. Месяца через два-три. Не торопитесь, пишите качественно.

Я взяла визитку, и руки дрожали от возбуждения. Хотелось кричать на весь мир от радости и гордости за себя саму. Хотелось набрать номер родителей и похвастаться – смотрите, как вы были не правы!

У меня будет выставка. В настоящей галерее.

Следующие три месяца я работала как одержимая. Вставала в шесть утра, шла на работу в кафе – там я всё ещё подрабатывала официанткой, – возвращалась к трём часам дня и садилась за мольберт. Писала до полуночи, иногда до двух-трёх часов ночи. Ела на ходу, спала по четыре-пять часов, почти не выходила из квартиры, кроме как на работу и за продуктами.

Подруга Вера, приходя в гости, качала головой:

– Лен, ну ты же себя убиваешь. Надо отдыхать.

– Некогда, – отвечала я, не отрываясь от холста. – Мне нужно закончить серию.

– Серия никуда не убежит.

– Убежит. Игорь Сергеевич ждёт, не могу его подвести. И себя тоже...

– Этот твой Игорь Сергеевич подождёт. А здоровье ты подорвёшь. И дальше что?

Но я не слушала, слова Веры, произнесённые хоть и с искренней заботой, пролетали где-то рядом со мной просто фоном. Я была на подъёме, в эйфории. Меня с такой силой захлёсты-

вали эмоции, что я никак не могла остановиться и ловила каждое мгновение, чтобы направить их в нужное русло. Впервые за всю жизнь я чувствовала, что двигаюсь к чему-то настоящему. Что моё искусство может быть не просто хобби, а делом жизни.

Я писала портреты людей, которых встречала каждый день. Ребята, с которыми работала в кафе – молодая-повариха Надя с усталым лицом, смазливый официант, мечтающий о музыкальной карьере. Соседи по дому – старик, который каждый вечер сидел на лавочке у подъезда, женщина с тремя детьми, всегда спешащая куда-то. Прохожие, которых я запоминала на улице и потом рисовала по памяти.

Каждый портрет был историей – попыткой заглянуть внутрь, понять, что чувствует этот человек, о чём думает, чего боится, на что надеется.

Через три месяца у меня было восемнадцать портретов. Я позвонила Игорю Сергеевичу.

– Готово, – сказала я.

– Отлично. Приезжайте в галерею, покажете.

Галерея на Остоженке была маленькой, но уютной. Два зала с белыми стенами, деревянный пол, высокие потолки. Помещение было пропитано каким-то особенным сладковатым ароматом с примесью корицы и ванили: не зная я, где нахожусь, решила бы, что по ошибке свернула в булочную. На стенах висели картины – пейзажи, натюрморты, несколько портретов. Всё классика, ничего современного.

Игорь Сергеевич встретил меня в своём кабинете – крошечной комнатке за вторым залом, заваленной каталогами и бумагами. Он предложил чай, мы сели за стол, и я разложила перед ним фотографии своих работ.

Он рассматривал молча. Брал каждую фотографию, изучал, откладывал. Лицо его было непроницаемым: за всё это время на нём не отразилось ни одной эмоции, которая дала бы мне хоть малейшую подсказку – ему нравится или он считает мои работы бесталанными. Это заставляло меня нервничать, кусая губы. На кону важный этап моей жизни – выставка либо случится сейчас, либо, возможно, её не будет никогда.

Наконец он поднял глаза.

– Хорошо, – сказал он. – Очень хорошо. Даже лучше, чем я ожидал. Выставляем.

Я выдохнула. Напряжение, сковывающее тело, начало отпускать, в висках появилась пульсация.

– Правда?

– Правда. Вот эти двенадцать, – он отложил фотографии в сторону. – Привезёте оригиналы на следующей неделе. Я оформлю, повешу. Открытие назначим на субботу, через две недели. Пригласим критиков, коллекционеров, просто любителей искусства. Придёте?

– Конечно.

– Тогда держите, – он протянул мне конверт. – Аванс. Пять тысяч. На оформление, на раму, если нужна. Остальное – когда продадим.

Я взяла конверт, не веря своему счастью.

– Спасибо, – сказала я. – Я не знаю, как вас благодарить.

– Не благодарите. Это бизнес. Вы талантливы, я даю вам площадку. Если продадите – оба в плюсе. Если нет – ну что ж, бывает. – Он встал, протянул руку. – Жду картины. И не волнуйтесь. Всё будет хорошо.

Я вышла из галереи, и ноги несли меня сами – по Остоженке, через Пречистенку, к метро. В кармане лежал конверт с деньгами, в голове кружились мысли, и я впервые за много лет чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Выставка. Моя первая выставка. Всё было не зря.

Открытие было скромным. Человек тридцать в галерее – друзья Игоря Сергеевича, несколько коллекционеров, пара журналистов из художественных изданий. Моя Вера пришла тоже, нарядная, в тёмно-синем платье, которое берегла для особых случаев. Она ходила от портрета к портрету, с ощущением сомнения, недоверия к происходящему, но всё же гордая, как будто это её сестра выставляется.

Я стояла в углу, в чёрном платье, которое купила специально к событию, и наблюдала. Люди подходили к моим работам, рассматривали, переговаривались. Кто-то кивал одобрительно, кто-то морщился. Критики делали пометки в блокнотах.

Игорь Сергеевич подошёл, положил руку на плечо:

– Не нервничайте. Идёт нормально.

– А продажи?

– Рано ещё. Люди смотрят, думают. Обычно покупают не в первый день. Дайте время.

Время дало результат. За месяц продали пять портретов. Это было не много, но и не мало для первой выставки никому не известного художника. Я получила деньги – после вычета процента Игоря Сергеевича и расходов на оформление осталось около тридцати тысяч рублей.

Тридцать тысяч. Больше, чем я зарабатывала за три месяца в кафе.

Я уволилась. Сказала хозяйке: «Извините, но мне нужно заниматься живописью». Она вздохнула с некоторой усмешкой, но отпустила без лишних вопросов.

В первый раз в жизни я могла посвятить себя только искусству. Только холсту, краскам, мольберту. Ничто не отвлекало, не тянуло в сторону.

Но была и обратная сторона. Игорь Сергеевич предупредил:

– Не расслабляйтесь. Одна успешная выставка – это хорошо. Но чтобы удержаться, нужно работать постоянно. Новые картины, новые выставки. Люди забывают быстро. Если пропадёте на полгода-год – о вас никто не вспомнит.

Я кивнула. Я понимала. Искусство – не только вдохновение. Это ещё и труд. Дисциплина. Бесконечная борьба за место под солнцем.

И я была готова к этой борьбе. Сейчас как никогда раньше.

Прошло почти двадцать лет с той первой выставки. За эти годы я участвовала в десятках экспозиций, продала сотни картин, получила несколько наград на региональных конкурсах. Игорь Сергеевич стал не просто галеристом, а чем-то вроде наставника. Иногда был старшим товарищем, хотя отношения наши всегда оставались в рамках профессиональных.

Он давно перестал удивляться моему одиночеству. Просто принял как данность.

– Вы выбрали искусство, – говорил он. – Теперь живите с этим.

Я и жила, как мне казалось, счастливо. До встречи с Фёдором.

Сейчас я стояла в мастерской и думала: а стоило ли оно того? Все эти выставки, продажи, похвалы критиков? Если в итоге я осталась одна, с грузом вины, который не поднять?

Игорь Сергеевич говорил: «Вы талантливы». Но талант действительно не греет, не обнимает тебя, когда холодно. Не говорит: «Всё будет хорошо», когда плохо.

Анна Борисовна была права.

8

Время перевалило за полночь. Я всё ещё не спала, бродила по мастерской, как запертый зверь в клетке. Останавливалась то у одного холста, то у другого. Все эти лица, пейзажи, натюрморты – годы работы, сотни часов за мольбертом. И ни одна из этих картин не могла ответить на простой вопрос: зачем?

Телефон лежал на столе, экран погас. Я посмотрела на него и вдруг вспомнила другой звонок. Он будто бы изменил всё – так мне казалось тогда. А может не изменил ничего – просто поставил точку в том, что уже давно закончилось.

Мне было двадцать семь. Прошло целых десять лет с тех пор, как я ушла из дома.

Звонок раздался поздним вечером в среду. Я была очень сосредоточена, лёгкая нервозность не отпускала меня: работала над портретом – заказом от одной из клиенток Игоря Сергеевича. Женщина хотела подарить мужу его изображение на годовщину свадьбы. Банально, но платила хорошо, и я не могла отказаться. Что-то с этим портретом сразу пошло не так: он не получался раз за разом, меня это злило – я заставляла себя подходить к нему, минуя подступающие приступы тошноты. Со мной бывало такое... Я связывала это с тем, что человек неприятен мне внешне, мне не хотелось проводить с ним время, моё время. Это была работа, я понимала, поэтому отказ даже не рассматривала. Но постоянно отмечала для себя – здесь химии не случилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.